

История

1989

2

Даугава

1989

2

ФЕВРАЛЬ (140)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- Евгения ГИНЗБУРГ.** Крутой маршрут. Хроника вре-
мен культа личности. Продолжение 3
Имантс ЗИЕДОНИС. Кафе художников. Вступле-
ние Давида Самойлова 44
Владимир КАЙЯК. Паук. Рассказ 49
Ольга НИКОЛАЕВА. Вечерняя радуга. Стихи . . . 89

Публицистика

- Абрам КЛЕЦКИН.** «Lūdzu!», или Субъективные за-
метки о латышском 64
Артемий ОСИН. Обречена на исчезновение. Точка
зрения человека из Системы 73
Ольга ДОРЕНСКАЯ. «Бесы» нашего времени . . . 82

- Инта НАЛИВАЙКО.** Исторические гербы латыш-
ских городов 92

Культурология

- Вадим РУДНЕВ.** Людвиг Витгенштейн в культуре
XX столетия 95
Людвиг ВИТГЕНШТЕЙН. Лекция об этике 98

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е:

Memoria

- Юрий АБЫЗОВ. Сергей Горный — детство у Рижского залива** 106
Сергей ГОРНЫЙ. 1. Рига . . . Торенсберг . . . Засенгоф. 2. Каугерн. 3. На взморье 108

Обзоры, размышления, рецензии

- Инта ЧАКЛА. Время тяжелых вопросов. Обзор латышской поэзии восьмидесятых годов** 116

- Даугавжурюмсацстран** 125

- Почта «Даугавы»** 127

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

Глава двадцать третья

РАЙ ПОД МИКРОСКОПОМ

Насчет того, что Тасканский пищекомбинат — это рай для заключенных, — не было двух мнений. Особенно для женщин. Их здесь мало, в пять раз меньше, чем мужчин, и все они на хороших работах. В больнице, в яслях, в теплицах, свинарнике. Одним словом — в помещении! Не на свежем сорокаградусном воздухе!

Женский барак стоит вне зоны, охраняется только одним дежурным воровцем, который смотрит сквозь пальцы, если бабенки пойдут в вольный поселок постирать, полы вымыть, одним словом — подработать.

А для мужчин уже тем хорошо, что Таскан не прииск, не забой. Таскан считается полунвалидным ОЛПом. Все на легких работах!

Я еще остро помню Известковую. Поэтому я шумно восхищаюсь Тасканом, и это смешит доктора, даже немного злит его.

— Вижу, что вам надо взглянуть на наш рай допристальной. Под микроскопом. Хотя бы под таким самодельным, как наш . . .

Захватив Конфуция, мы все втроем отправляемся «на производство». Это отнюдь не значит, что мы идем в цеха пищекомбината. Нет, в цехах работают вольняшки или бывшие зэка, освободившиеся из лагеря и осевшие на Колыме. А мы идем на большую сопку, которая и есть производственный объект наших доходяг. Вооруженные небольшими топориками, перекинув за плечи мешки, они ходят попарно по склонам сопки, рубят ветки низкорослого кедра-стланика. Потом сваливают ветки в мешки и тащат их на приемный пункт пищекомбината. Там эти ветки — сырье. Из них варят противощинговые напитки и пасты.

Работают доходяги без конвоя. Куда им бежать-то? Да и само понятие о побеге не вяжется с этими странными, почти потусторонними фи-

гурами, ползающими по сопке, точно какие-то неведомые насекомые, перемещающиеся движениями членистоногих.

— Итак, вот перед вами основное население рая. Берем один экземпляр, наводим на него микроскоп . . . Как дела, Балашов?

Оказывается, обход работяг «на производстве» входит в наши обязанности. Он именуется «профилактическим» и рассматривается как проявление гуманизма. Фактически он направлен на предотвращение смертей во время работы. Почему-то в этом вопросе начальство проявляет крайнюю щепетильность. Умирать п о л о ж е н о на больничной койке, в крайнем случае в бараке, на нарах, но отнюдь не на сопке. А то свалится где-нибудь в сугроб, ищи его потом, объявляя в побеге, отчитывайся . . .

Вальтер очень умело использует эти опасения начальства, чтобы ежедневно превышать установленную норму на «бюллетни».

— Не тошнит тебя, Балашов? — спрашивает доктор.

— Вроде есть маленько, — почти беззвучно бормочет Балашов, приближаясь к нам этой удивительной, почти без центра тяжести, походкой.

Вальтер берет его за руку, отыскивая пульс. Я вдруг вижу всю фигуру Балашова крупно, точно действительно навела на него микроскоп. Он похож на марсианина, со своей огромной, обмотанной кучей тряпья головой, с выпуклыми глазами и лиловыми кругами подглазниц.

— Иди в барак! Не слышишь? В барак, говорю, иди, ударник производства! Скажи на вахте, что я освободил. Полежи до вечера, а вечером придешь в амбулаторию . . .

Покрытые болячками губы раздвигаются, обнажая черные обломки зубов. Он рад! Он улыбается!

— Как думаете, сколько ему лет? — спрашивает меня доктор, глядя вслед ударнику производства.

— Не знаю. Сто? Пятьдесят? Разве у него еще есть возраст?

— А как же! По крайней мере по у с т а н о в о ч н ы м д а н н ы м ему тридцать четыре года. Восемь лет назад, когда его арестовали, он был студентом Киевского университета. Спортсмен. Боксом увлекался. На прииске пробыл почти пять лет. Рекордный срок!

— А какой диагноз вы бы ему поставили? — спрашивает Конфуций, ударяя на последний слог ученого слова. Он любил подчеркнуть, что он-то настоящий фельдшер, не то что я, медсестра лагерной выучки. Впрочем, быстро убедившись, что я знаю свое место и не конкурирую с ним, он добродушно учит меня всем премудростям.

— Диагноз? Алиментарная дистрофия, наверно? Уж этого-то ли главного нашего диагноза мне не знать?

— Голод! — подытоживает доктор. — Трофический голод. Распад белка.

Если посмотреть не на отдельного ударника, а на весь производственный процесс в целом, то кажется, будто это какой-то мультипликационный фильм. Так по-кукольному сгибают доходяги свои локти и колени, точно они вырезаны из фанеры.

Психика у доходяг тоже нарушена. Все слезливы и обидчивы, как дети. Многие совсем потеряли память.

Изо дня в день разыгрывается на поверке потеха с Байгильдеевым. Никак он не может запомнить свою статью, по которой сидит уже девять лет. Не может — и всё тут! Срок помнит, пожалуйста, — десять лет и пять поражений, а вот статью — хоть убей! И то сказать — статья у него трудная . . . Асэвзээ . . . Антисоветский военный заговор.

— Байгильдеев! — кричит вохровец по прозвищу Зверь, поднося к близоруким глазам учетную карточку военного заговорщика.

— Абдурахман Юакирзянович! — бойко рапортует бывший казахский колхозник. — Год рождения одна тысяча девятьсот десятый! Статья . . . Статья . . .

Он трет лоб. От напряжения жилы на его висках вздуваются желваками. Несколько секунд внутренней борьбы — наконец отчаянное признание:

— Забыл статью . . . Опять забыл . . .

Зверь ругается по матушке. Надоела ему эта петрушка! Каждый день мерзни тут из-за такого ишака, что собственных своих установочных данных запомнить не может. Ну вот, слушай, черт нерусский! Остатний раз тебе говорю, запоминай: Асевезе! Понял? Русского языка не понимает!

Услышав сигнальные звуки, такие знакомые, но никак не лежащие на память, Абдурахман радуется, как малое дитя. Он точно обрел потерянную игрушку.

— Асевезе! Асевезе! Ай, спасибо! Ай, спасибо!

Зверь грозит, что если завтра опять забудет Байгильдеев свою статью, то ночевать ему в карцере . . . Никто не верит этим угрозам, потому что Зверь, несмотря на свое прозвище, особо доходяг не обижает, матюкается только . . . Все смеются. Только Вальтер велит Байгильдееву зайти в амбулаторию.

— У него сердце на ниточке висит. А после этих ежевечерних потех у него приступы пароксизмальной тахикардии. Вчера до ста пятидесяти пульс доходил. Гипнозом, что ли, ему эту проклятую статью внушить!

. . . В отличие от настоящего рая, небесного, на Таскане ни на минуту не отвлекаются от мысли о хлебе насущном. О царице Пайке. Ее нежат, холят, о ней тоскует и спорят. Ее завещают перед смертью друзьям. Я много раз присутствовала при этих завещаниях и даже являлась вроде нотариуса при выражении последней воли умирающего.

— Смотри, сестрица! Ежели до обеда кончусь, пайку мою — Сереге! А то шакаля-то в палате много. Неровен час — цапнут . . .

Завещания соблюдались строго. Шакалов, норовивших цапнуть пайку умершего, подвергали общему презрению, а иногда и кулачной расправе. Если, конечно, в палате находились такие, кто еще владел кулаками. Когда кто-нибудь умирал не в больнице, а в бараке, то смерть эту старались возможно дольше скрывать от начальства. Чтобы паечка шла и шла покойничку. Иногда даже поднимали мертвеца на поверку, ставили его в задний ряд, подпирая с двух сторон плечами и отвечая за него «установочные данные».

И все-таки все, даже самые доплывающие доходяги, так называемые ф и т л и, считали Тасканский пищекомбинат раем. Искренне считали. Потому что это был не прииск, не забой. Потому что здесь лечили и часто давали «бюллетни». Потому что здесь почти не сажали в карцер. Одним словом, потому, что это была полуинвалидная командировка, на которой можно было использовать все преимущества, предоставленные умирающим нашей гуманной санчастью.

Я полной грудью вдыхаю райские вольности. Меня поселили прямо в больницу. Сплю на топчане в процедурной. За вахту выпускают свободно. Едим по-семейному, все вместе: доктор, Конфуций, санитар Сахно и я. Повар подбрасывает медикам лишнюю ложку каши. Доктор по-братски отдает в общий котел перепадающие ему от вольняшек кусочки сала или кулечки с крупой.

Пищу духовную мы получаем тем же путем и по такому же скромному рациону. Доктор приносит немудрящие книжонки, пылящиеся на этажерках вольных граждан поселка Таскан. После обеда, когда у больных

мертвый час, мы читаем вслух, и Конфуций оправдывает свое прозвище, поигрывая разными аргументами для доказательства недоказуемого. Например, что, мол, горе и радость это, в сущности, одно и то же, так как и то и другое проходит. Хлебом его не корми, дай только пофилософствовать. Ужасно бедняга огорчается, обнаружив у нас с доктором тенденцию уединяться. Санитар Сахно не спорит с его философскими построениями. Он просто мирно дремлет под них.

Настало лето. Мы часто отправляемся с Вальтером в тайгу, собирать лечебные травы. Краткое цветение тайги великолепно. Оно пробуждает потерянную было нежность к миру, к оттаявшему тальнику, к стройным цветам иван-чая, похожим на лиловые бокалы с высокими ножками. Доктор то и дело наклоняется, срывает растение и называет его на трех языках: по-русски, по-немецки, по-латыни. Вечером мы будем колдовать над кирпичной печкой, варить лекарства, а потом раздавать: столовую ложку отвара и пуд насыточных надежд.

С каждой прогулкой крепнет наша дружба, сокровенней становятся разговоры. Он единственный, с кем я могу говорить об Алеше, и уже этим одним он для меня не такой, как все. Он как-то так повертывает руль разговора, точно нет разницы между ушедшими и нами, еще оставшимися пока на земле. Точно все мы — живые и мертвые — капли единого потока. И у меня возникает тревожное, но целительное ощущение, будто я еще могу сделать что-то для Алеши, даже обязана сделать что-то для него. Странно, но это смягчает неотступность боли. Иногда доктор вдруг неожиданно связывает с этой моей болью самые повседневные наши дела.

— Вы должны иногда и ночью подходить к Сереже Кондратьеву. Во второй палате... Совсем мальчик. Очень боится смерти. Я и сам к нему подхожу по ночам, но важно, чтобы это была женщина. Просто подойти потихоньку. Ну, руку на лоб, одеяло поправьте. Ради Алеши...

Доктор идет на сближение обстоятельно и нежно, как в доброе старое время. Рассказывает о детстве. Излагает свои научные гипотезы. Терпеливо переносит поток стихов, который я на него обрушиваю. И в любви признается, когда больше уже нельзя молчать, не устно, а в письме.

Для этого пригодилась поездка на недалекую командировку, куда доктор был направлен, чтобы «комиссовать» тамошних доходяг.

Шла уже вторая зима моей работы на Таскане. Теперь я была не амбулаторной, а настоящей больничной сестрой. Научилась всем премудростям: и скальпелем орудовала, и внутривенные вливания делала. И в это утро я вливала хлористый кальций Сереже Кондратьеву (просто чудо — пошел он у нас на поправку!), когда в больницу вошел эка Заводник, бывший заместитель Микояна по Министерству пищевой промышленности. Он работал в лагере завхозом и постоянно разъезжал по точкам.

— Я привез вам письмо от доктора Вальтера, — сказал он с оттенком таинственности.

— Положите на полку. У меня руки заняты.

— Гм... По-моему, оно важное и личное. Доктор просил отдать непосредственно вам. Лучше я подожду, пока вы освободитесь.

В письме было признание. Удивительное. Можно сказать, уникальное. Потому что оно было написано по-латыни. Позднее Антон, смеясь, объяснял мне, почему он прибег в таком случае к языку Древнего Рима. Настоящего конверта не было, пришлось заделать лист бумаги в виде порошка, край в край. Не было и уверенности в рыцарской скромности гонца. Очень расторопный был товарищ. По-немецки он,

скорее всего, понимал. Тогда-то Антон и надумал обратиться к латыни.

Я никогда не учила латыни, но по аналогии с французским кое-что понимала. (Антон потом шутил по этому поводу: «Добываешь творог из ватрушек».) И теперь, отвернувшись от Конфуция и от санитаря Сахно к окошку, где сверкал синеватый колымский снег, я вглядывалась, волнуясь, в острый готический почерк доктора, разбирая приподнятые, почти патетические слова: *Амор меа . . . Меа вита . . . Меа спес . . .*

Судя по тому, с каким живейшим интересом Заводник наблюдал за мной, не торопясь уходить, можно было предположить, что этот ученый еврей кумекал кое-что и по-латыни.

— Доложите герцогу: ответа не будет. Точнее, ответ будет вручен ему лично по возвращении. Доброй ночи, виконт!

(Я долго сомневалась, уместно ли писать о таком личном в книге мемуаров, посвященных нашей общей боли, нашему общему стыду. Но Антон Вальтер так плотно вошел в мое дальнейшее колымское существование, что было бы просто невозможно продолжать рассказ, не объяснив, откуда и как Вальтер появился в моей жизни. А главное, мне хотелось на его образе показать, как жертва бесчеловечности может оставаться носителем самого высокого добра, терпимости, братского отношения к людям.)

. . . Но, конечно, высокий стиль Антонова письма мне не под силу. И я прибегаю к спасительной шутке, маскируя свое отношение к нему самодельными стишками. В них я изображаю нашу с ним прогулку по Риму. «. . . Как прекрасен Капитолий, сколько в небе глубины! День прекрасный, день веселый, мы свободны, мы — одни. Все тяжелое забыто в свете голубых небес, вы шепнули: *меа вита, амор меа, меа спес . . .* Я в восторге. И отныне я прошу вас вновь и вновь только, только по-латыни говорить мне про любовь . . .»

. . . Громкий стук в дверь. Санитар Сахно, дрожа спросонья, судорожно зевая, тревожно шепчет:

— Вставай-ка, сестричка! Фершалу одному не управиться . . . Присшествие! Начальства в коридоре — навалом . . .

Господи, да они уморят всех наших больных! Наружная дверь распахнута настежь, и молочный кисель декабрьского морозного тумана вползает прямо в наши палаты. У больничного барака стоит грузовик. Наверху различаю фигуру заключенного. Вохровцы стаскивают его с машины. А в коридоре действительно полно начальства: и режимник, и командир вохры, и еще двое расторопных молодых парней, видно оперативники.

— Шприцы! — командует мне Конфуций. — Это термошок! Будем вливать глюкозу и физиологический . . .

Мы хлопочем вокруг замерзшего, приводя его в чувство, а начальство почему-то не уходит. Наоборот, пристально следит за нашими манипуляциями, и режимник время от времени повторяет:

— Чтобы жив был! Чтобы не подох раньше времени!

Вот наконец больной открыл глаза. Они очень светлые и совсем пустые, стеклянные.

— Как фамилия? — допытывается у него Конфуций.

Но больной молчит. Только длинный тонкий рот корчится в беззвучных конвульсиях.

— Кулеш — его фамилия, — говорит начальник режима. — Он Кулеш. А вот его ужин.

Режимник протягивает мне черный закоптелый котелок, до краев наполненный какой-то пищей.

— Дайте медицинское заключение, какое это мясо.

Я заглядываю в котелок и еле сдерживаю рвотное движение. Волоконца этого мяса очень мелкие, ни на что знакомое не похожи. Кожа, которой покрыты некоторые кусочки, топорщится черными волосками.

Кулеш — бывший кузнец из Полтавской области — работал на пару с тем самым Центурашвили, что лежал целых полгода в нашей больнице. Сейчас Центурашвили — бывшему секретарю райкома партии одного из сельских районов Грузии — оставался всего один месяц до освобождения из лагеря. Уже в УРЧе лежали на него бумаги, а из дома шли полные нетерпения письма семье. Антон, что называется, глаз не сводил с этого человека, которого удалось спасти от казалось бы неотвратимого конца, вечно вызывал его в амбулаторию, давал освобождения от работы, вместе с ним считал оставшиеся до отъезда дни.

И вдруг, на удивление всем, Центурашвили исчез. Вохровцы побродили по сопкам, записали показания напарника — Кулеша, что, мол, в последний раз он видел Центурашвили у костра. Кулеш пошел работать, а Центурашвили остался еще маленько погреться. А когда Кулеш вернулся к костру, Центурашвили, дескать, там уже не было. Да кто ж его знает, куда заделался. Может, свалился где в сугроб да и дал дубаря. Слабак был . . .

Вохровцы поискали еще денька два, а потом объявили Центурашвили в побеге, хотя между собой диву давались: чего это бежать, когда сроку-то оставалось всего ничего . . .

В присутствии всего начальства я ввожу Кулешу в вену глюкозу. Он не морщится от укола. Прямо на меня в упор таращатся его пустые белесые глаза.

— Что на лекпомшу-то уставился, выродец? — брезгливо говорит начальник режима. — Из нее, браток, котлетки-то поди вкуснее были бы, чем из Центурашвили . . .

Людоед! Я ввожу глюкозу в вену людоеда. По приказу начальства мы с Конфуцием должны спасти ему жизнь, чтобы он мог предстать перед судом. Начальники жалеют, что врач в отъезде. Обязательно надо гада до суда дотянуть . . . Чтобы другим неповадно . . .

Я еле удерживаюсь на ногах от физической и душевной тошноты. Спасать, чтобы потом расстреляли? Спасать по-человечески этого нелюдя? Да пусть бы он умер вот сейчас же, исчез, испарился, как болотное чудище, как нетопырь какой-то. Ловлю себя на том, что впервые за все эти годы я в эти минуты вроде бы внутренне ближе к начальству, чем к этому заключенному. Меня сейчас что-то связывает с этим начальником режима. Наверно, общее отвращение к двуногому волку, переступившему грань людского.

— А кто довел-то? Кто голодом заморил? — чуть слышно бормочет Конфуций.

Да, конечно, но все же . . . каков тот, кого можно довести до ЭТОГО!

. . . С недавнего времени в бараке, где жил Кулеш, стали замечать: что-то колдует он по ночам у железной печки. И вроде вареным мясом тянет от печки-то. Подтвердилось: глухой ночью, когда все спали, он варил свой бульон. Прижали: откуда мясо? Да раздобыл, мол, у корешей с соседнего прииска кусок оленины. Возненавидели: хоть бы раз хлебнуть дал, собака! Стукнул кто-то режимнику. И дознались . . .

Картина преступления была такая. Подойдя к гревшемуся у костра Центурашвили, Кулеш убил его ударом топора по шее. Потом снял с мертвого одежду, сжег ее на костре. Затем методично разрубил

труп на куски и зарыл в разных местах в снег, пометив каждую свою кладовку каким-нибудь знаком. Только вчера бедро убитого нашли в сугробе под двумя перекрещенными короткими бревнышками.

... Наутро вернулся из командировки наш доктор. Он уже знал о случившемся. Бегло поздоровался и сразу пошел в палату, где лежал Кулеш. Весь этот день Антон промолчал. Даже обход провел почти молча.

Поздно вечером, когда мы остались одни в процедурной, он внимательно посмотрел на меня и положил руку на мою.

— Это был страшный день, дорогая. Но не отчаивайтесь, да, зверь живет в человеке. Но окончательно победить человека он не может. Впервые он назвал меня на «ты».

Глава двадцать четвертая

РАЗЛУКА

Фантастичнее всего, что на фоне этого безумного мира складывался все-таки какой-то быт. Утро начиналось с домашнего шарканья тряпичных тапочек санитары Сахно.

— Завтрак! — возвещал он торжественно. — Вставайте, доктора! Кушать подано!

— А что там на завтрак? — сонным утренним голосом спрашивал Григорий Петрович (Конфуций) с такой искренней любознательностью, точно меню нашего завтрака могло и впрямь изменяться.

— Суп и чай! — с готовностью докладывал Сахно. И было очень приятно, что баланду он называет супом, а кипяток — чаем.

На все уже было свое определившееся время: и на работу, и на чтение, и на писание писем материковским адресатам. Читали всегда вслух, так как книг нам перепало не много. Письма писали тоже сообща, потому что формулировки надо было придумывать изощренные. Чтобы было понятно родным и приемлемо для цензора. Особенно много обсуждений требовали письма Сахно, поскольку его жена, доярка воронежского колхоза, была хоть и первойшей работягой, но зато «насчет умственности до ужаста тупая». Сахно всегда просил «намекать ей попонятнее». Он настойчиво объяснял это, и губы его подрагивали от нежности и боли, на что никак нельзя было намекнуть. Впрочем, на свою инвалидность, на то, что в свои сорок он выглядит шестидесятилетним, он никогда ей не намекал.

По вечерам мы с Антоном даже ходили иногда в гости. Да, в гости! К тому единственному человеку, который имел право если не пригласить, то во всяком случае вызвать нас к себе на квартиру, — к начальнику нашего лагеря Тимошкину.

Оригинальный это был начальник! В блюстители закона он перековался из бывших беспризорников. В голове его царил самый немислимый ералаш, но сердце было добрейшее. Всю систему наказаний он полностью передоверил режимнику, так как не мог перенести, если кто-нибудь из доходяг заплачет. Сам же он с увлечением занимался хозяйством лагеря, старался подбросить лишний кусок в лагерный котел, пуская ради этого в ход всю свою изворотливость, используя опыт молодых лет, когда он состоял в других отношениях с Уголовным кодексом, чем на теперешней должности.

Антон лечил и самого Тимошкина, и его бело-розовую вальяжную жену Валу от подлинных и воображаемых болезней, и оба они души

не чаяли в обходительном докторе. Вечерком Тимошкин то и дело звонил на вахту и строго приказывал немедленно прислать врача для оказания семье начальника медицинской помощи. Через час после ухода врача на вахте снова трещал телефон. На этот раз к начальнику требовали медсестру. Да чтобы шприцы не забыла с собой взять для уколов. Я оставляла в тимошкинской прихожей никому не нужные шприцы, а сама усаживалась за чайный стол, где меня уже ждали.

От Тимошкина и Валентины мы не скрывали наших отношений, и эти люди, сохранившие вопреки всему простые человеческие чувства, старались делать все, чтобы облегчить наше положение.

В долгих застольных беседах Антон удовлетворял детскую любознательность начальника, проведшего свои школьные годы у асфальтовых котлов Москвы. Разнообразные сведения, получаемые в этих беседах, вызывали у нашего хозяина то радостное изумление: «Ишь ты!», то скептические возгласы — «Скажешь тоже!» Услышав однажды от доктора, что земля — шар, вращающийся вокруг своей оси, наш начальник именно так и отреагировал: «Скажешь тоже!»

Меня он тоже уважал за ученость. По должности ему приходилось немало возиться с бумагами, и он решил подучиться грамматике, поступив на какие-то заочные курсы. Выполняя письменные работы для этих курсов, он вечно мучил меня вопросами о правописании разных слов. При этом он хитро щурился, прикрывал ладонью страничку учебника грамматики для пятых классов и откровенно сверял мои ответы с учебником. Не обнаружив расхождений, он победно взглядывал на Валу. Дескать, видала, какова лекпомша-то!

В медицине, кстати, я основательно продвинулась вперед. Теперь я смело вскрывала фурункулы и абсцессы, вливала физиологический раствор, а по части внутривенных — переиграла и врача и фельдшера, поскольку оба они уже нуждались в очках, а я еще была тогда довольно зоркая и в вену попадала почти безотказно. Приспособил меня Антон и к ведению историй болезни.

Его ужасно угнетала эта часть его обязанностей. По приемам работы и по своему душевному складу он был типичным домашним или земским врачом. Готов был тратить долгие часы на уход за больным, на уговоры и утешения. Но всякая канцелярщина казалась ему непереносимой. К тому же хоть он и говорил по-русски почти без акцента, но в письменной речи явно обнаруживал свое немецкое происхождение: громоздил тяжелые фразы с вспомогательными глаголами на конце, тратил массу лишнего времени, методично вырисовывая островерхие, похожие на готические, буквы. А пренебрегать д о к у м е н т а ц и е й было никак нельзя, потому что многочисленные начальники и ревизоры только по ней и судили о работе больницы. Зарывать наших пациентов под сопку мы были обязаны не как-нибудь, а «в строгих правилах искусства».

Обнаружив мои первые опыты в заполнении и с т о р и й, Антон обрадовался.

— Здорово получается, Женюша! Давай так и сговоримся: я буду лечить, не отвлекаясь на эту канитель, а ты уж... Ладно? Чего вам, гуманитариям, стоит лишнюю страничку общими словами исписать! Тебе это легко дается...

Действительно, я в пять раз быстрее Антона вписывала в листки и с т о р и й различные комбинации принятых железных формулировок. Но нельзя сказать, чтобы это давалось мне легко. Особенно эпикризы и протоколы вскрытий. Рука автоматически строчила — «И в 12 часов 17 минут скончался при явлениях нарастающей сердечной слабости», а перед глазами стояла реальная картина этого мгновения, так академи-

чески описанного. Застывшие в последней судороге черные провалы ртов. Каменеющий в глазах смертный ужас. В ушах звучали последние слова умирающих.

Я всегда старалась запомнить эти последние произнесенные человеком слова. Ведь может статься, когда-нибудь о них будут, содрогаясь от любви и боли, расспрашивать те, для кого это лагерное койко-место было дорогим Ванечкой.

Правда, что-нибудь значительное — о жизни, о несправедливости, свершенной над ним, о своих близких — человек говорил обычно раньше, когда смерть еще не вплотную подошла к изголовью. А при последнем грозном ее появлении люди, заторопившись в дальний путь, почти всегда вспоминали что-нибудь мелкое. Один спрашивал, скоро ли обед, в безумной надежде успеть перехватить еще несколько ложек густой больничной баланды. Другой вдруг судорожно принимался искать мешочек с запасными портянками.

Так что совсем это было не так просто — документировать лагерные болезни. Иногда мелькали безумные мысли: а что если зачеркнуть сейчас слова «История болезни» и написать сверху «История убийства»? Но духу на это, конечно, не хватало. Да и кому это помогло бы?

Больница наша вечно была переполнена. Люди лежали не только в так называемых палатах, но и в кривом коридоре, где свистели все колымские ветры. Ежедневно приходилось решать мучительный вопрос: кого из прибывших больных принять, кого отправить в барак, снабдив вожделенным освобождением от работы. Тем, кто болел в бараче, повышенный паек не выдавался. Поэтому все жаждали лечь в больницу.

Именно с этого трудного вопроса о приеме больных «на койку» и начался роковой для меня день. Антон и Конфуций с утра выехали на т о ч к и. Я осталась в качестве единственной медицинской власти.

— Нету местов! — отбивался за меня санитар Сахно, не пропуская в дежурку напирающих больных. — Нету — и все тут. Куды вас девать-то! Есть, правда, местечко в женской палате... Дак ведь не в женскую же вас ложить!

Тут меня и осенило. А почему бы, собственно, и не в женскую? Женщин в нашем лагере было мало, болели они реже, и одно-два места в женской палате часто пустовали. А что если положить туда ну хоть вот этого Мизинцева?.. Почему бы нет? Разве у этой загробной тени есть еще пол?

Наметанным глазом сразу вижу: умрет к вечеру. Так пусть хоть на койке, а не на нарах, в грязи и холоде. И морфий ему введу... Меньше мучиться будет.

— Положи его в женскую, Сахно. У двери...

— А не нагорит нам? — усомнился наш опытный санитар. — Ну, да и то сказать — шкилет... Поди разберись, какая в ём стать...

Но начальство разобрало. И надо же было именно в этот день нагрязнуть комиссии из Ягодного! Да чтобы сразу им в глаза метнулась облысая синюшная голова этого Мизинцева!

— Мужчина в женской палате?

Священное негодование вспыхнуло на упитанном лице начальника. Он, оказывается, уже давно слышал, что здесь, на Таскане, притон разврата. Да и чего ждать, когда заключенные женщины живут за зоной и разгуливают по поселку без конвоя!

Не слушая моих объяснений, он прошел в дежурку, где выявился еще один потрясающий факт: медсестра, несмотря на свой явно женский пол, живет рядом с врачом и фельдшером, отделенная только фанерной

перегородкой... И после этого еще удивляются, что деткомбинат ломится от незаконнорожденных...

Начальник был оперативен. Уже на другой день пришел приказ, положивший конец всем традиционным тасканским вольностям. В неустанной заботе об укреплении нравственности жителей вольного поселка Севлаг предлагал немедленно водворить заключенных женщин в зону, ликвидировать законный женский барак, строго конвоировать женщин при выводе на работу. Преступную же медсестру предлагалось немедленно этапировать в Эльген. Само преступление было сформулировано с предельной четкостью: «Пыталась создать условия для разврата путем госпитализации ээка мужского пола в палату для ээка обратного пола».

— Дай мне яду, Антоша! Пожалуйста, дай... На всякий случай... Я зря не приму... Только в том случае, если Циммерманша придумает что-нибудь уж совсем невыносимое...

Антон с негодованием отвергает просьбу. Не я дала себе жизнь, и не мне ее гасить. И каждый обязан пройти через то, что ему назначено. Но об этом говорить еще рано. Сначала он пойдет хлопотать.

Некоторые возможности для хлопот у доктора были. Кроме начальника лагеря Тимошкина он лечил и директора Тасканского пищекомбината — Нину Дмитриевну Каменнову. Поддержка со стороны Тимошкина была обеспечена. Конечно, совсем не выполнить приказа Севлага он не может, но затянуть мою отправку на несколько дней — это в его силах. Антон пошел к Каменновой. Это была женщина лет сорока пяти, типичная женотделка, самоучка, возмещавшая отрывочность образования здравым смыслом и деловитостью. Она умело вела свое предприятие, минуя рифы и утесы «колымской специфики». Тот же здравый смысл подсказывал ей, что лишняя жестокость не помогает выполнять производственные планы. Именно так она и мотивировала свои добрые поступки. «С покойниками плана не выполнишь». Не чуждо ей было и чувство благодарности. К Антону, лечившему всю ее семью, она относилась как к другу. В одной из откровенных бесед она заявила ему «раз и навсегда», что немцем его не считает, поскольку «такой хороший человек не может быть немцем».

Ее-то и умолял сейчас Антон поехать в Ягодное и использовать там для моего спасения свои многочисленные связи. Если уж никак нельзя оставить здесь, то пусть хоть пошлют в любой другой лагерный пункт, только не в Эльген... Ведь это равносильно смерти — попасть снова в руки Циммерман!

Связи у Нины Дмитриевны действительно были большие. Время было военное, с продуктами, даже для вольных, туговато, а пищекомбинат выпускал не только витаминные настойки, но и такие соблазнительные вещи, как сгущенное молоко, яичный порошок...

Она сделала это для своего доктора. Поехала. Добилась отмены приказа об отправке меня на Эльген. Правда, оставить меня на Таскане начальники не согласились: уж очень шумели они насчет «мужчины в женской палате», очень гордились сделанной разоблачением и принятыми мерами. Но по просьбе Каменновой, с которой ссориться им не было никакого смысла, дали спецнаряд. Я направлялась медсестрой в центральную больницу Севлага, в поселок Беличье.

Вопреки логике, это назначение было вроде бы даже повышением по лестнице лагерной «карьеры»: из таежной «глубинки» я попадала теперь в районный центр. Беличье — всего в четырех километрах от Ягодного. Спасало меня это назначение и от угрозы Эльгена и Циммерманшиной мести. Но разлука с Антоном стала непреложным фактом.

Глядя на нас, утирают слезы не только наши больные, не только Конфуций и Сахно. Сам начальник ОЛП Тимошкин проникновенно, хоть и шепотком, матерится по адресу ягоднинских начальников и клянется при первой же возможности непременно выменять меня на кого-нибудь. Пусть на печника или даже на электрика. Он не пожалеет... Лишь бы время прошло и забылась маленько вся эта история.

... Всю ночь мы сидим на топчане в дежурке и вспоминаем. Подробно рассказываем друг другу, как мы впервые встретились и что тогда каждый подумал о другом. И как Заводник привез мне латинское письмо. А как мы искали в тайге лечебные травы. Мы даже смеемся, вспомнив, как я растопила шприцы — все шприцы до одного! — не заметив в пылу увлекательной беседы, что вода в стерилизаторе давно выкипела. И как мы были сначала в полном отчаянье — где взять здесь, в тайге, новые шприцы? А потом Погребной с ветпункта выручил. У него, оказывается, большой запас был, не в пример нам. И как доктор потом долго острил на тему о причинах моей рассеянности.

В этих воспоминаниях прожитый год кажется нам волшеббно счастливым. Мы были удивительно сильными. Ведь все переживалось вместе...

— С вещами!

Уже прибыл за мной конвоир. Специально из Ягодного. Эта формула («С вещами!») — нечто вроде голоса Рока. Чья-то неумолимая равнодушная рука снова переставляет пешку на шахматной доске.

Санитар Сахно плачет совершенно открыто, всхлипывая по-бабьи. В коридоре сгрудились все больные, держащиеся на ногах. Сквозь глубокое отчаяние у меня пробивается мысль: выходит, они привязаны ко мне, выходит, не зря прошел этот лагерный год — была нужна людям.

Последний момент. Сейчас я перешагну порог моего горького, голодного, страшного и восхитительного рая. Прощайте, дорогие! Прощай, Антон!

— Нет, не прощай! До свидания! И помни: мы всегда с тобой...

Мы обнимаемся прямо на глазах больных и ягоднинского конвоира. Становится очень тихо. Даже пришлый конвоир, конечно не раз тащавший в карцер «за связь зэка с зэкою», поддается этой тишине. Он терпеливо стоит, прислонившись к притолоке. Ни разу не сказал: «Давай, давай!»

Глава двадцать пятая

ЗЭКА, ЭСКА И БЭКА

На первый взгляд усадьба центральной больницы Севлага — Беличье — воспринималась как дом отдыха или санаторий. Дорожки между строениями были расчищены и посыпаны гравием. Даже клумбы здесь были. Клумбы, обложенные дерном. Правда, в августе, когда я впервые появилась здесь, цветы были уже прибиты первыми заморозками, их белесые, иссушенные стебли уже распластались по земле, готовые смешаться с ней. Но сама мысль, что здесь сажают цветы, вселяла какие-то странные надежды.

Два двухэтажных корпуса ослепили меня своим материковским видом. Остальные строения — хоть они и были бараками привычного типа — все-таки резко отличались чистотой и ухоженностью от того, к чему я привыкла на Эльгене или на Таскане.

— Ну что, осмотрели нашу жемчужину Колымы? Рады небось что из таежной глухомани вырвались? — приветливо осведомился местный нарядчик.

— А здесь разве не тайга?

— Тайга-то тайга... Только Федот, да не тот... Наше Беличье — оазис в пустыне. Особенно для женщин. Заключение женщин здесь всего двое. Вы третья будете. Сами понимаете, каким вниманием вас окружают. Пойдемте, провожу вас к главврачу, а заодно покажу всю территорию: дом дирекции, лабораторию, аптеку, морг...

Он подхватил меня под руку жестом радушного помещика. Этот длинноносый сухопарый человек с лицом фавна и ёрнической манерой говорить носил фамилию — Пушкин и имя — Александр. На воле он был каким-то периферийным хозяйственником, крупно проворовался и прочно сел на десять лет еще в тридцать шестом. Он тут же начал рассказывать мне об этом, шумно восторгаясь собственной сообразительностью и дальновидностью. Получалось так, что он вроде обдуманно сел «вовремя и по отличной бытовой статье». Промешкай он со своей хозяйственной махинацией до тридцать седьмого, подсунули бы ему, как пить дать, террор или вредительство. А разве тогда мог бы он мечтать о портфеле нарядчика на Беличье? Должность большая, но он не заносчив и всегда рад по мере сил помочь политическим. Чем возможно, понятно. Особенно дамам, в которых он понимает толк, и врачам, в которых нуждается: язва желудка.

— А почему в глазах мировая скорбь? — обратился он наконец внимание на мой подавленный вид. — А, позвольте, что-то слышал... Любовная разлука? Немецкий доктор с Таскана? Гм... Сразу видать непрактичную даму: война с Германией, а вы себе немца нашли... Разве не благоразумнее взять русского человека? Ну, пусть хоть и эзка, но такого, чтобы мог питание обеспечить... Что же вы морщитесь? Питание в наших условиях — кардинальная проблема. Но между прочим, если ваш новый избранник будет из заключенных, то он сможет обеспечить и единомыслие и, так сказать, совместную скорбь...

Это был изощренный пакостник, вроде капитана Лебядкина. Он вел меня окружным путем, чтобы длить эту светскую беседу. Впрочем, он не догадывался взять у меня мой тяжелый деревянный чемодан — изделие эльгенского могильщика Егора. Пушкин так и сыпал самыми остротами, именуя их фольклором, который, дескать, так ценил его великий тезка.

Но вот наконец и дом дирекции. Пушкин самолично доставил меня к начальнице, пред ее испытующие и грозные очи. В официальных бумагах местная властьница именовалась очень прозаично — главврач центральной больницы Севлага. Но она являлась одновременно и начальником лагпункта. Власть ее над телами и душами вверенных ей заключенных была абсолютна еще и потому, что самый главный хозяин провинции — начальник северного горного управления Гагкаев был земляком и другом нашей главврачихи. Оба они были из Осетии.

(Ее звали Нина Владимировна Савоева. Забегая вперед, надо сказать, что судьба оказалась милостивой к этой женщине: ее жизнь сложилась так, что выявились лучшие стороны ее натуры и, наоборот, оказались подавленными те первичные инстинкты властолюбия и самоуправства, которые были ей свойственны. Полюбив заключенного лаборанта, она стала позднее его женой и после смерти Сталина работала уже рядовым врачом в Магаданской больнице. Встречаясь на магаданских улицах со мной и Антоном, она приветливо здоровалась и говорила что-нибудь обыденное. Дескать, сегодня в кино «Горняк» идет хорошая картина...)

Трудно было поверить, что всего за несколько лет до этого она казнила и миловала, выходила из внутренних апартаментов походкой царицы Тамары, говорила отрывистым гневливым голосом, приказывала приближенным рабыням мыть себя в ванне и умащивать свое довольно грузное и бесформенное тело разными ароматическими веществами.

Снова возвращаюсь к банальной мысли: абсолютная власть разлагает абсолютно. Незлая по натуре, Нина Савоева совершала немало постыдного под крылом Гагкаева, этого районного Сталина, о жестокости которого ходили постоянные слухи. Как хорошо, что благодаря любви к мужчине судьба Савоевой переломилась! Еще несколько лет белчинского владычества — и она окончательно погибла бы, превратившись в палача.)

В тот момент, когда я предстала перед ее грозным ликом, она была еще в полном блеске величия. Ее черные кавказские глаза метали молнии. Широкая короткопалая рука, вся в кольцах, то и дело поднималась в повелительно жесте.

— Отведете ее в туберкулезный, — сказала она Пушкину так, точно меня тут не было. — Там и жить будет, в кабинете. Посуду отдельную. Предупредите: больные остро заразные. Пусть будет осторожна...

Эти гуманные слова главврач произносила так оскорбительно, что мне вдруг захотелось заплакать. Очевидно, таков был местный ритуал: к мелкой рабыне вроде меня не могли быть обращены непосредственные слова владычицы. Я с тоской вспомнила наши вечерние чаепития у тасканского начальника Тимошкина, идиллические просветительные беседы с ним насчет вращения земного шара. (Нелегко было дяде Тому привыкать к плантациям мистера Легри после доброго Сент-Клера и его дочери...)

Туберкулезный корпус стоял на пригорке, в отдалении от остальных строений. Это был барак, разделенный на две палаты. В одной лежали носители бацилл Коха — «палата бэка». В другой — те, у кого «бэка в поле зрения не обнаружены» — «чистая». Деление это было довольно условным, состав больных подвижным, потому что лабораторные анализы были, мягко выражаясь, несовершенны и жители «чистой» палаты порой перегоняли «бэков» по проценту смертности. Женской палаты здесь не было.

Каморка, предназначенная мне, тесно примыкала к палате «бэков», отгороженная от нее фанеркой, не доходящей до потолка. Я с трудом отделилась от Пушкина, многословно и узористо разъяснявшего мне, что этот опасный корпус имеет свои преимущества: охрана, боясь заразы, сюда заглядывает редко, начальство — тем более.

На довольно устойчивых топчанах, покрытых не очень тощими матрацами, лежали мужчины. Не доходяги, не фитили, не «шкилеты», а нормальные с виду, преимущественно молодые мужчины. Они резко отличались от наших тасканских пациентов, обессиленно и обреченно доплывавших к неизбежному берегу. Здесь лежали люди, еще вчера здоровые, привыкшие к активному сопротивлению силам смерти. Они были сломлены сейчас не многолетним голодом и непосильным трудом, а острым, быстро текущим заболеванием. Заключенные в прежнем значении этого слова составляли здесь меньшинство. А большинством были люди нового послевоенного колымского сословия, так называемые «эска» — спецконтингент.

Это была моя первая встреча с людьми, вынесенными сюда из другого ада — из ада войны и гитлеризма. Среди них были самые различные категории. Некоторые на вопрос «за что?», отвечали: «За то, что не покончил самоубийством». Другие — латыши, эстонцы, литовцы — были

мобилизованы в германскую армию при оккупации Гитлером Прибалтики. Третьи бежали из плена или были вывезены из освобожденных нами районов.

Эска делились на срочников, имевших шесть лет, и бессрочников — «до особого распоряжения». Считалось, что режим эска мягче нашего, эзковского. Однако те, кто лежал сейчас в туберкулезном корпусе, прошли через знаменитый прииск Бурхала, где молодые заболели сначала воспалением легких, потом скоротечным туберкулезом. Особенно быстро протекал этот процесс у рослых прибалтов, которым требовалось много калорий.

Первые дни здешней жизни были для меня острой пыткой. Ночью я не могла уснуть, ворочаясь до одури на коротком топчане. (Тот, что подлиннее, не влезал в кабинку.) Непрерывные кашли — сухие и влажные, осторожно сдерживаемые и отчаянно пароксизмальные — сотрясали воздух. Разноязычные стоны, хриплые проклятия, а иногда и просто плач самых молоденьких — ко всему этому предстояло привыкнуть.

С утра я начинала вливания хлористого кальция всем больным подряд. Я садилась на край койки, ища вену. Я входила в близкое, почти родственное соприкосновение с этими латышскими мальчиками, в каждом из которых я видела своего Алешу. Они были почти его ровесниками, года на два-три постарше. Такие же высокие, как он, с такими же пушистыми ресницами и доверчивыми, еще пухлыми мальчишескими губами. Они должны были жить. А они умирали. Ежедневно, еженощно умирали, отчаянно отбиваясь от смерти, но терпя поражение. И на смену им привозили все новые транспорты мальчишек, и они снова умирали. Погибали, то отчаянно отбиваясь от гибели, то уже сдавшись и зова перед концом маму. Потом я пыталась подсчитать, сколько человек умерло на моих руках, сколько последних вдохов я приняла. Получалось что-то близко к тысячи . . .

Туберкулезное отделение вел заключенный врач Баркан. Похожий на обедневшего отзейского барона, весь какой-то обесцвеченный, с симметричными мешочками под глазами, он был погружен в себя и не очень реагировал на внешние раздражители. Ему оставалось досидеть всего несколько месяцев, и он умел говорить и думать только об этом.

Я долго не могла привыкнуть к его стилю работы. Не то чтобы он был недобросовестен. Нет. Он аккуратно совершал дневные и вечерние обходы, выслушивал, выстукивал, делал назначения, исходя из скудных возможностей нашей аптеки. Но никто из больных не догадывался, что он тоже заключенный, и все называли его «гражданин доктор». Когда я однажды в первые недели моей работы здесь прибежала за ним ночью с возгласом: «Андрис умирает! Андрис! Тот мальчик, что у самой двери. . .», он спокойно ответил: «Да, я так и полагал, что сегодня. . .» И даже не подумал встать. Я вспомнила, как Антон бегал по всему поселку, разыскивая глоток вина для бродяги, которому перед смертью уж очень хотелось выпить, или как врач сидел по ночам у койки молодого парня только потому, что тот боялся темноты. . . Вспомнила, сказала: «Извините, гражданин доктор». И ушла. Больше я его никогда не будила.

Санитаров в нашем туберкулезном отделении было двое. Старший — Николай Александрович — на воле был бухгалтером и умудрялся даже здесь сохранять какой-то счетно-финансовый вид. Он носил очки, был крайне деловит и организован в работе. На его обязанности были все внешние сношения. Он приносил из кухни еду на всех, из аптеки — лекарства, от начальства, избегавшего нашего корпуса, — приказы и

распоряжения. Работой своей он очень дорожил, считал себя умным и хитрым за то, что так ловко сумел устроиться: паек идет как за вредную работу с заразными, а фактически он с больными почти не соприкасается.

Настоящую санитарскую работу — грязную, тягостную, бессонную — нес младший санитар Грицько. Ему было тогда всего восемнадцать, но жизненного опыта хватило бы на троих. В сорок втором, когда гитлеровцы стояли в их городке, Грицько был еще подростком, правда таким высоченным, что ему «со спины» давали на пять лет больше.

— Хиба ж я знав, що таке страпится, — огорченно говорил он всякий раз, начиная рассказ о своей одиссее.

Та ж мамо ему говорили, щоб не выходив с хаты. Так не послушав же! Змия як раз хлопцы пускали, ну и вышел побачити... А тут нимцы... Пидйихали на таким великим крытом грузовике и легонько так пидманили: «Ком, юнг, ком хер!» И затолкали Грицька в машину, така гарна крыта машина, та и повезли. Мамо и доси не знають, де сынок подивався... А уж вин пойиздив...

Малолетнего Грицька таскали для прифронтовых работ по всей Европе. Свои путевые впечатления он излагал всегда в строгой последовательности, руководясь при этом как главным критерием в оценке любой страны качеством тамошней баланды.

— У Польши, сестрица, баланда дуже погана... Зовсим пуста... У Чехословакии — трохи гарнийша... Але у Итали! О це краина! Такой баланды, як у Итали, мы з вами, сестрица, в життя не побачимо...

В наш туберкулезный корпус Грицько попал прямым маршрутом Рим—Колыма. По правде говоря, в Итали, невзирая на такую удивительную баланду, Грицько все же тосковал по дому. И как только в районе их работ появились советские офицеры и стали звать домой, Грицько не раздумывал.

Вони, ти офицеры, плакат до нас принесли. Така гарна жинка на-малевана. Рука протягае: иди, сынку, до дому, бо витчизна-мать тебе кличе... Правда, балакали там ризно, что, мол, посадят до лагеря за то, що у нимцев служив. Та Грицько не поверив. Сам он, что ли, к нимцам подался? Силком ведь сцапали...

— Эх, сестрица, кабы вы побачили, як нас з Итали провозжали! Духовой оркестр грал! Наши радяньски офицеры промовы говорили... Ну, а як дойихали до нашего кордону, так — пересадка. Усих перегрузили в товарны вагоны, та двери зачинили замками... Музыка? Ни, музыка бильш не грала!

В туберкулезное отделение Грицько попал по той же схеме, что и прибалтийские мальчики: прииск Бурхала, воспаление легких, туберкулез... Но тут Грицько наглядно проиллюстрировал правильность поговорки «Что русскому здорово, то немцу — смерть». В тех же условиях он умудрился выздороветь. Каверна у него зарубцевалась, бэка «в поле зрения» не обнаружили. Он уже был почти готов для новой отправки на Бурхалу, но тут судьба его неожиданно-негаданно повернулась к счастью.

Дело в том, что, став ходячим больным, Грицько начал добровольно помогать санитарам. Никакие турне по Европе не могли зачеркнуть навыков, привитых с детства. Заметив непролазную грязь в туберкулезном корпусе, Грицько проявил инициативу. Каким-то таинственным образом ему удалось выменять пайку на ведерко сухого мела. Он смастерил из мочалы кисть и пустился наводить чистоту на стены барака. Как раз в это время главврачу сигнализировали, что уже выехала авторитетная комиссия, которая будет обходить все корпуса больницы,

не исключая и заразного. Вспомнив мерзость запустения, царившую в туберкулезном, Савоева бросилась сюда, взволнованная, гневная, готовая покарать первого попавшегося под руку «виновника» грязи. И вдруг . . .

— Что ты делаешь? — воскликнула она, застав Грицька уже дома-зывающим стены палаты «бэка».

— Та вот . . . Трохи хату пидбеливаю . . . Бо дуже замурзана була, — эпически об'яснил Грицько.

Савоева помолчала и отрывисто приказала Баркану:

— Не выписывайте его! Останется тут санитаром . . .

Так привычка, рожденная когда-то «в садке вишневом коло хаты», спасла парубка от Бурхалы, от новой пневмонии, от верной гибели.

Больные — и эзка, и эска, и бэка, и не бэка — дружно обожали молоденького санитаря. Он был нужен всем. Тому ночью подаст водички, другому поможет встать и проводит «до ветру», с третьим просто посидит и потолкует «за жизнь» в минуту острого отчаяния. Свести бы его с доктором Антошей! Идеальное получилось бы лечение . . .

Единственная лагерная черта в характере Грицька была жадность на хлеб. Хлеба у нас, в туберкулезном, было много: умирающие ели плохо, а пайки выдавались усиленные. Но все равно Грицько сушил, копил, прятал хлеб, комбинировал какие-то обмены и вечно подбивал меня подавать сведения о новых покойниках не сразу, а только после получения на них дневного довольствия.

— Та шо вы, сестрица! Та придурки сожруть . . . И им и так хватае . . . Хай у нас трохи в запасе буде . . .

Даже когда умер Андрис, с которым Грицько обменялся клятвой вечной дружбы, он все равно, обливаясь слезами, попросил:

— Та не спешить до конторы, сестрица! Вот получимо хлиб та баланду на Андриса, тоди и пойдете . . .

К Грицьку не приставала лагерная грязь. Он был приветлив, никогда не произносил гнусной ругани, вошедшей в обиход даже у многих бывших интеллигентов. Только однажды я видела его в приступе неукротимой ярости. Это тоже было связано с Андрисом, с его смертью.

У того на указательном пальце левой руки было массивное кольцо с камеей. Он пронес его через все обыски и не расстался с ним, считая талисманом. Перед смертью он снял кольцо и отдал Грицьку, попросил переслать матери в Даугавпилс, в Латвию.

Мы с Грицьком долго шептались, как быть. Сами мы, конечно, никакого доступа к почтовой связи не имели. Хранить кольцо долго у себя было опасно: могли отнять. И мы решились обратиться к нарядчику Пушкину. У него вольное хождение и тысяча связей. Ему ничего не стоит отправить кольцо Андрисовой маме. Хучь он и дуже охальный, цей Пушкин, але мабуть на таку мельку речь не позаритсья! — задумчиво соображал Грицько.

Пушкин охотно взял красивую вещицу, небрежно сунул в карман, но сказал, что сделает обязательно, что мать — это дело святое. Прошло недели две, и вдруг Грицько обнаружил Андрисов перстень на грязном заскорузлом пальце заключенного-бытовика, торговавшего в нашем продуктовом ларьке.

— За полкила масла та дви банки бычки в томати, — прошипел Грицько, и я не узнала его голоса.

Когда через несколько дней нарядчик Пушкин зашел в наш корпус, чтобы переписать прибывших-убывших, я не удержалась и с притворным спокойствием спросила, отослал ли он уже кольцо в Латвию.

— Как же! Давно уже! — с готовностью ответил Пушкин.

— Брешешь, гадюка! — воскликнул вдруг Грицько и, бросившись на худого, тщедушного нарядчика, начал всерьез душить его. Еле отняли ходячие больные.

Целую неделю после этого я вздрагивала от всякого звука открываемой двери. Не за Грицьком ли? Но Пушкин не стал жаловаться. Может быть, с учетом собственной омерзительной роли в этом деле, а может быть, потому, что за последнее время его язва сильно обострилась. Она терзала его и отвлекала от дел внешнего мира, заставляя все время прислушиваться к тому, что происходило у него внутри.

С наступлением зимы мы начали сильно страдать от холода. Туберкулезный корпус еще больше, чем Тасканская больница, продувался всеми ветрами, а дров нам давали совсем мало. Почему-то дрова в тайге были остро дефицитны. Их давали в главные корпуса — хирургию и терапию. Нас же разумно считали сегодняшними или завтрашними покойниками, которым холод повредить никак не может.

Но мы организовались на защиту своих больных и самих себя. Под руководством старшего санитаря — бывшего бухгалтера — действовало л е в о е обменное бюро. Какие-то бродяги и прохвосты по ночам осторожно сгружали у задней стены нашего барака явно ворованные баланы и баклашки, унося взамен мешки с сухим хлебом и ведра с остатками баланды. Ранними утрами, до обхода, в полной темноте, мы с Грицьком распиливали дровишки и складывали их в секретное место.

О голоде при здешней усиленной пайке не могло быть и речи. К тому же время от времени я получала с оказией передачи от Антона. Так что, казалось бы, все шло терпимо, тем более, что до конца моего десятилетнего срока оставался (если верить приговору!) уже вполне обозримый отрезок — полтора года. Но несмотря на все это, именно здесь, на Беличьем, на меня часто находили приступы необоримой тоски.

Я не могла выдерживать этих ежедневных агоний, этих схваток со смертью, в которых она всегда побеждала. И еще меня мучил цинизм, с каким внешняя респектабельность и благопристойность нашего учреждения маскировали скрытый в нем ужас. Аллейки, клумбочки . . . Новая рентгеноустановка . . . Чистая кухня и повара в белых колпаках . . . Даже научные конференции заключенных врачей! А наряду с этим ежедневно выписывали полуживых людей и отправляли их на ту же смертоносную Бурхалу. И ежедневно, еженощно работал беличьинский морг, все повышавший свою пропускную способность.

В морге хозяйничали блатары. Отявленнные урки. Им лень было зашивать трупы после вскрытий, лень копать длинные, по росту трупов могилы. И они свежевали, рубили трупы на куски, чтобы свалить их потом в поверхностную круглую яму за бугром, поросшим лиственницами.

Однажды я встретила этот похоронный кортеж на рассвете, когда побежала в неурочное время в аптеку. На длинных якутских санях трое блатарей тащили рубленую человечину. Бесстыдно торчали синие замерзшие окорока. Волочились по снегу отрубленные руки. Иногда на землю выпадали куски внутренностей. Мешки, в которых было по л о ж е н о зарывать трупы заключенных, благоразумно использовались блатными анатомами для разных коммерческих меновых операций. Так что весь ритуал беличьинских похорон предстал предо мной в обнаженном виде.

В первый и единственный раз в моей жизни приключился тут со мной приступ, похожий на истерический. Мне вспомнилось выражение *м я с о р у б к а*, которым часто определяли наши исправительно-трудовые лагеря. При виде этих груженных якутских саней иносказательный смысл слова вдруг заменился объемной вещественной буквальностью. Вот они — приготовленные для гигантской мясорубки нарезанные куски человеческого мяса! С ужасом и удивлением я услышала свой собственный удушливый смех, свои собственные громкие рыдания. Потом меня стало отчаянно рвать. Не помню уж, как доплелась до своего корпуса.

И как раз в тот же день к нам нагрянула комиссия очень высокого ранга. Не только чины из Сануправления, но и сам начальник Севлага полковник Селезнев. Окруженный большой свитой, он прошел прямо в заразную палату, где в этот момент Грицько мыл пол, старательно залезая тряпкой под толчаны.

— А здесь у вас палата ээка или эска? — спросил Селезнев.

Я не успела рта открыть для ответа. Меня перегибал Грицько. Выжимая половую тряпку спорыми, почти женскими движениями, он громко вздохнул и непринужденно заявил:

— Ох, хйба ж тут до того, щоб разбиратнся: чи ээка, чи эска! Якщо туточки навалом одии чныты бэка!

— Что? Что? — Брови начальника высоко поднялись от изумления.

— Бэка — бациллы Коха, — торопливо разъяснила я, боясь как бы он не прогневался на Грицько и не отправил его на Бурхалу. — Санитар имеет в виду, что палата укомплектована не по установочным данным, а по медицинским показателям. Здесь остро заразные, выделяющие палочки Коха . . .

Начальник резко оттолкнулся от дверной ручки, за которую только что держался, суеверно посмотрел на свои ладони, точно боялся увидеть на них прыгающих бэка, и сердито сказал, обращаясь к нашей главврачхе:

— Зачем же было беспокоить таких тяжелых больных? Покажите лучше вашу новую рентгеноустановку . . .

Глава двадцать шестая

MEA CULPA

Является ли потребность в раскаянии и исповеди подлинной особенностью человеческой души? Об этом мы много шепталась с Антоном в нескончаемых тасканских ночных беседах. Вокруг нас был мир, опровергавший, казалось бы, самое воспоминание о том, что не хлебом единым . . . Хлебом, хлебом единым, единой царицей Пайкой дышали здесь все живые, полуживые и даже совсем умирающие. Да и мы сами, наверно, еще ведем эти разговоры по старой интеллигентской инерции, а по сути и мы уже морально мертвы. И я разворачивала перед Антоном цепь аргументов в доказательство того, что мы вернулись к обществу варваров. Правда, новые варвары делятся на активных и пассивных, то есть на палачей и жертв, но это деление не дает жертвам моральных преимуществ, рабство разложило и их души.

Антон ужасался таким моим мыслям, страстно опровергал их. И я была счастлива, когда ему удавалось разбить мои доводы. Ведь я и швыряла в него такими жестокими словами, часто отвратительными мне самой, с единственной целью — чтобы он разуверил меня еще

и еще, чтобы и на мою душу упал ответ той удивительной гармонии, которой он был пронизан насквозь.

Здесь, на Беличьем, мне довелось столкнуться с фактами, подтверждавшими мысли Антона. Тяжкие, но в то же время утешительные это были встречи. Я сама видела, как из глубины нравственного одичания вдруг раздавался вопль «Меа максима кульпа!» и как с этим возгласом к людям возвращалось право на звание человека.

Первой такой встречей был доктор Лик. Ледяными январскими сумерками у дверей туберкулезного корпуса постучались двое здоровых. Одного из них я узнала, Антон знакомил меня с ним на Таскане. Это был тоже врач, но уже вольный, освободившийся по окончании срока. Сейчас он работал по вольному найму на каком-то прииске, выглядел полным благополучником. В своем «материковском» зимнем пальто с мерлушковым воротником и с черной кудрявой бородой, тоже похожей на мерлушку, он всем своим видом как бы подчеркивал жалкое положение своего спутника. Тот напоминал страуса из-за высокого роста, маленькой головы и махристых лагерных чуней на длинных ногах. Исхудание его было уже в той степени, когда даже самые старательные начальники санчасти все же пишут «легкий труд».

Это и был доктор Лик, при содействии которого Антон пять лет назад, в первый год войны, потерял зрение на правый глаз. Тогда все немцы, в том числе и врачи, были только на тяжелых общих работах. Защитных очков не хватало, и неистовый дальневосточный ультрафиолет, отраженный белизной первозданных снегов, опалил Антону глаз. Освобождения от работы не давали. Началась язва роговицы. Зрение в пораженном глазу все меркло. Антон пошел еще раз в амбулаторию приискового лагеря. Врачевал там заключенный доктор Лик. Трудно сказать, почему его оставили на медицинской работе, хоть он и был чистокровным немцем. Был ли это недогляд или имел Лик особые заслуги, но только факт: в то время как шло массовое гонение на врачей-немцев, он продолжал ведать больницей заключенных на этом прииске.

Да, сказал он Антону, — да, это язва роговицы. Но положить его в больницу Лик не может. Потому что Антон Вальтер тоже немец и тоже врач. И Лика могут обвинить, наверняка обвинят, в желании спасти своих.

Антон помолчал, потом сдержанно спросил, понимает ли коллега Лик, что возможно парасимпатическое заболевание второго глаза и в результате — полная слепота. Да, Лик понимал это. Бешеным шепотом он ответил по-немецки, что при альтернативе — жизнь Лика или зрение Вальтера — он выбирает жизнь Лика.

Я давно знала все это от Антона. И все это повторил мне сейчас с абсолютной точностью и почти в тех же выражениях мой неожиданный гость. Он говорил почти спокойно, с той медлительностью, которая вообще характерна для дистрофиков. Иногда он повторял одну и ту же фразу, как бы боясь, не упустил ли он что-нибудь важное. Его давно небритое, покрытое рыжеватыми колючками лицо сохраняло искусственную неподвижность.

— Почему вы решили рассказать все это мне?

— Потому что я не могу спать. Мне еще нет сорока, а у меня неизлечимая бессонница. Конечно, надо пойти к самому Вальтеру. Но я подконвойный, мне туда не добраться. Сюда меня под конвоем привели на конференцию врачей. Встретил вот здесь освободившегося коллегу, и он сказал мне про вас. Я хочу, чтобы вы передали Вальтеру . . .

— Нас ведь разлучили. Я тоже подконвойная. Не знаю, увижу ли его еще в жизни.

— Вам осталось сроку год с небольшим. Вы его увидите. А у меня сроку — двадцать пять. Впереди еще шестнадцать с половиной. Так что я прошу вас сказать ему...

Тут обманчиво спокойное лицо Лика отчаянно задергалось в нервном тике. Но я вспомнила плотное бельмо на правом зрачке Антона и неумолимо переспросила:

— Что именно сказать ему?

И тут он закричал.

— Скажите ему, что я дерьмо! Что большего дерьма нет даже среди палачей. Те хоть прямо убивают... Что меня надо было лишиться врачебного диплома... Еще скажите ему, что я не сплю. И что наяву тоже вижу кошмары...

У него оказался очень неприятный петушинный фальцет. И гримаса, искажавшая его лицо, была просто отталкивающей. Но такая сила страдания и самоосуждения была в его вопле, что я вдруг дотронулась до его рукава и сказала:

— За последний год бельмо уменьшилось в диаметре. Он лечится гомеопатическими средствами. Теперь уже немного видит этим глазом.

... Другая беличьиная встреча, похожая на эту, была для меня еще тяжелее. На этот раз дело шло о человеке, который помог мне в тридцать девятом, а два года спустя стал «свидетелем» по новому «делу» Вальтера.

Я уже писала о нем. Это Кривицкий, работавший врачом на этапном пароходе «Джурма». Тот, который положил меня в тюремный изолятор, сдал в Магадане в больницу и этим спас от смерти. А в сорок первом, на прииске Джелгала, он стал сексотом и под диктовку оперуполномоченного Федорова подписал протоколы, в которых излагались «факты антисоветской агитации Вальтера в бараке». Это послужило основанием для нового суда и нового — третьего! — срока. На суде Кривицкий бесстыдно произносил свою провокаторскую стряпню прямо в лицо Антону и очень облегчил суду решение о свежем десятилетнем сроке. Вообще этот несчастный, видимо, скатился очень далеко на своем страшном пути, потому что уже в шестидесятых годах, в Москве, я натолкнулась на имя Кривицкого, читая лагерные записки Варлама Шаламова. Кривицкий фигурирует там в той же омерзительной роли.

Не знаю, жив ли он сейчас. Вряд ли. Ведь уже тогда, зимой сорок шестого, его привезли на Беличье после инсульта, с параличом руки, ноги и частично языка. Узнав, что я здесь, он прислал мне с санитаром записку. Странными каракулями, написанными, видимо, левой рукой, он звал меня навестить его. О том, что я имею отношение к Антону Вальтеру, он, конечно, не знал. Не предполагал, очевидно, и того, что мне известны его иудины подвиги.

Больше недели я не шла к нему, только пересылала через Грицька свой сахар. Потом доктор Баркан, которого вызывали туда на консультацию, сказал мне с кривой усмешкой:

— Что же это вы ускоряете смерть Кривицкого? Просто с ума сходит, что вы к нему не идете. А после такого инсульта малейшее волнение...

Я пошла. За несколько дней до того к нему вернулась речь. Косноязычная, неразборчивая, но все-таки вернулась. Он был в состоянии острого возбуждения. Говорил непрерывно. Это было обличительное слово. Он клеймил меня позором за черную неблагодарность. Если бы не

он, разве я выжила бы тогда, на «Джурме»? А теперь, когда он в беде, я не хочу даже навесить его. Вот, явилась на двадцатый день . . .

Что было отвечать? Объяснять причину моей черной неблагодарности — значило спровоцировать ухудшение его болезни. Молчать? Невыносимо. Он вызывал во мне скользкое чувство безгласности не только тем, что я знала об его прошлом, но и своим нынешним видом. Его мутные, уже готовые остуденеть глаза все еще источали хитрость и ложь. Рот был перекошен не только параличом, но и великой злобой. Я положила на тумбочку сверток с едой и молча вышла.

Прошло несколько дней, и я узнала, что у Кривицкого — второй удар. Теперь он опять без языка и почти неподвижен. Только левая рука еще жива, и вот он написал мне записку. Передавая мне ее, наш старший санитар сказал:

— Наболтали там ему новые большие, что вы знаете, кто дал доктору Вальтеру третий срок.

Мы троим разбирали записку. Она была довольно пространный, но в иероглифах этих почти невозможно было разобраться. Смогли мы прочесть только слова «Простите» и «Умру завтра» . . .

Да, его левая рука еще была жива. Она судорожно хватала меня за полу халата, она метушилась по одеялу, в ней была какая-то особая сила выразительности. Именно по руке я поняла, что он просит прощения . . . Глаза его были закрыты. Я села на табуретку, наклонилась к нему и шепотом сказала:

— Вы мне сделали добро. Я помню это. А остальное . . . Я рада, что вы просите за это прощения. Я уверена, что Вальтер простит, когда я расскажу ему о ваших мучениях. Я проклинаю тех, кто воспользовался вашей слабостью.

Один его глаз открылся. Из него лились слезы, и он был живой, не злой, несчастный.

. . . И еще раз пришлось мне наблюдать на Беличем, как может корчить человека от мук угрызений совести и как сравнительно с этой пыткой ничего не стоят ни тюрьма, ни голод, ни, может быть, и сама смерть.

Больного Фихтенгольца доставили с последней партией бурхалинцев. Примерно тридцатилетний, он был красив ангельской, белокурой, нежнолицей красотой. По документам значилось, что Фихтенголец — эска, получивший поселение на неопределенный срок, до особого распоряжения, что он житель города Тарту, эстонец. Но странно было, что по-эстонски он объяснялся с большим трудом.

— Какой он эстонец? — недружелюбно ворчали наши старые эстонские пациенты. — Хлеба по-эстонски попросить не может!

По-русски он и совсем почти не понимал. Вскоре выяснилось, что Йозеф Фихтенголец эстонец только по отцу, которого он потерял в раннем детстве. По матери он немец, и родной его язык — немецкий.

Болел он очень тяжело. Температура никак не снижалась. По ночам задыхался, бредил, отчаянно метался на своем топчане.

Наш доктор Баркан, чем ближе подходило к сроку его освобождение, тем все более отрешенно взирал на мир своими остзейскими глазами. Он не очень-то затруднял себя дифференциальным диагнозом. Все поступившие к нам больные заранее считались туберкулезниками, всех одинаково лечили вливаниями хлористого кальция. Но однажды, в выходной день Баркана, обход за него провел доктор Каламбет, как две капли воды похожий на Тараса Бульбу, умудрившийся даже в лагере остаться толстячком. С его появлением в наше преддверие морга как бы входила сама жизнь. С прибаутками, забавными ужимками

и украинскими поговорками Каламбет уточнил диагнозы, приободрил многих больных, а про Йозефа Фихтенгольца сказал:

— А это ведь не ваш больной, а мой. У него крупозная пневмония. скажите Баркану, пусть к нам, в главный терапевтический, его переведет.

Но Баркан ударился в амбицию. Его диагноз не мог быть ошибочным. И он продолжал назначать Йозефу все то же бесцельное лечение.

Однажды ночью Грицько разбудил меня.

— Идись, сестрица, до того херувимчика... Бо вин, наверно, сдае концы...

Фихтенголец весь выгнулся в жестоком приступе удушья. Голубые глаза вылезли из орбит. По лицу катился холодный пот.

— Их канн нихт мер... Битте... Люфтэмболи... Махен зи люфтэмболи, ум готтесвиллен...

Я не сразу поняла, что такое «люфтэмболи». Поняв, содрогнулась. Я слышала, что такой способ убийства применяется в гитлеровской медицине. Введенный в вену наполненный воздухом шприц, говорят, вызывает воздушную эмболию и смерть. И он хочет, чтобы я сделала такое!

— Вы сошли с ума! Мы не фашисты! Мы не убиваем, а лечим больных!

Да, но его уже нельзя вылечить. Так пусть же сестра не длит его агонию, он не в силах больше страдать...

Что делать? Бежать за Барканом бесполезно. Каламбет тоже не пойдет, не захочет осложнять отношений с Барканом. И тут я поставила перед собой вопрос, который уже не раз выручал меня здесь, на Беличьем. А что сделал бы в этом случае Антон?

У больного отек легкого... Надо дать отток крови. В лагерных условиях старинный метод кровопускания не раз спасал людей в Тасканской больнице. Терять нечего... Я подставила тазик, ввела в вену большую иглу. Медленными крупными каплями, похожими на ягоды красной смородины, кровь стала капать в таз и тонкими струйками растекаться по его белому дну. Сердце у меня отчаянно колотилось. Не путаю ли? Сколько граммов крови спускал таким образом Антон?

Больной вдруг перестал стонать и даже словно задремал. Дрожащими руками я ввела ему камфару. Что еще надо? Ах да, горячий сладкий чай, покрепче...

В общем, я спасла его. И на утреннем обходе Баркан насмешливо сказал мне:

— Ну вот видите? Вы с Каламбетом сомневались в моем диагнозе. А смотрите, как улучшилось состояние больного от хлористого кальция.

Не знаю, понял ли Фихтенголец эту реплику, но во всяком случае между мной и им было решено — без всякого сговора, одними взглядами — не говорить Баркану ни о ночном кровопускании, ни о том, что хлористого кальция я ему не вводила.

Он стал мне дорог, как всегда нам дороги плоды наших усилий. И когда он перешел в разряд выздоравливающих, а температура его нормализовалась, я нарочно писала ему в истории болезни тридцать семь и пять, чтобы он успел получше окрепнуть, чтобы подольше пробыл вдали от прииска Бурхала. Я отдавала ему половину своей еды. Это было совсем нетрудно, потому что от тяжелого труда и спертого воздуха я почти совсем потеряла аппетит. А он ел с жадностью возрожденного к жизни смертника и на глазах наливался здоровьем.

На мои заботы он отвечал безмолвным обожанием. Он вообще был молчалив и ничего о себе не рассказывал, даже если я задавала ему вопросы по-немецки. Но вот однажды наш старший санитар Николай

Александрович, получая обед на кухне, где сходились все беличьи новости, принес об Иозефе Фихтенгольце неважные сведения.

— Гитлеровский офицер он! Подумать только! А его наравне с нашими, кто честно сражался, а виноват только в том, что попал в окружение . . .

Это был удар для меня. Выходит, я спасала убийцу, может быть эсэсовца? . . .

— А откуда узнали?

— Все говорят . . .

Это было еще далеко не точно. Известно, как разрастаются при передаче из уст в уста лагерные слухи. Я ничего не сказала Фихтенгольцу, но стала придирчиво присматриваться к его поведению. Оно было безупречно. Он изо всех сил старался быть полезным для корпуса. «Аккуратист!» — одобрительно отзывался о нем Грицько, которому он помогал в уборке. Особенно старательно он мыл пол в моей кабинке, натирая неструганные доски до зеркального блеска. Кроме того, он дарил мне деревянные фигурки своей работы. Каким-то чудом у него сохранился маленький перочинный ножик, и он вырезал им из кусочков дерева удивительные вещицы, неуклюже-грациозные, полные мысли и таланта. Однажды он принес мне двух маленьких ангелов, подобие тех, что в подножии Сикстинской мадонны.

— Это вам, — сказал он, преданно глядя на меня, — потому что вы сами ангел.

Мы были наедине. Тут-то у меня и сорвались страшные слова, которых, наверно, не надо было говорить.

— Я ангел? Что вы! Обыкновенный человек. И если бы вы меня встретили года три назад и в другой обстановке, вы бы сожгли меня живьем в газовой камере или удушили на виселице . . .

— Я? Вас? — Его красивое лицо пошло багровыми пятнами. — Но почему?

— Потому что я еврейка. А вы, кажется, фашистский офицер?

Он резко побледнел и упал на колени. Мне показалось, что он испугался разоблачения, и я удвоила удар.

— Не бойтесь! Если о вас не знают, то я доносить не пойду . . .

Он вскрикнул, как будто в него попала пуля. И я поняла, что ошиблась. Не страх, а именно муки совести терзали его. Те самые корчи, которые ломают почище любой телесной боли. До сих пор не знаю, служил ли он гитлеровцам и как именно служил. Но ясно, что было ему в чем каяться.

Сраженный неожиданностью удара, он забыл свою обычную сдержанность и осторожность. Стоя передо мной на коленях, он рыдал во весь голос, как ребенок, хватал мои руки, пытаясь целовать их, и без конца повторял одно и то же: «Я верующий человек . . . Разве я хотел? Разве я хотел?»

И такая глубина отчаяния была во всем этом, что я на какую-то секунду пожалела, что так боролась за его жизнь. Может, лучше ему было умереть, чем жить с таким грузом? Не знаю, может он и был фашистским зверем, а может, только слепым исполнителем зверских приказов. Во всяком случае сейчас, в этой своей неизбывной муке, он стал человеком.

Мне может возразить, что гораздо чаще встречаются люди, громко вопящие о своей невинности, перекадывающие свою вину на эпоху, на соседа, на свою молодость и неискренность. Это так. Но я почти уверена, что такие громкие вопли призваны именно своей громкостью

заглушить тот тихий и неумолимый внутренний голос, который твердит тебе о личной твоей вине.

Сейчас, на исходе отпущенных мне дней, я твердо знаю: Антон Вальтер был прав. «Меа кульпа» стучит в каждом сердце, и весь вопрос только в том, когда же сам человек услышит эти слова, звучащие глубоко внутри.

Их можно хорошо слышать в бессонницу, когда, «с отвращением читая жизнь свою», трепещешь и проклинаешь. В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не участвовал в убийствах и предательствах. Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все равно чем. Бездумным повторением опасных теоретических формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным писанием полуправды. Меа кульпа . . . И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины.

Глава двадцать седьмая

СНОВА ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В тридцать девятом, когда мы досиживали второй год в Ярославской сдвоенной одиночке, Юля как-то вычитала мне вслух двестише из незапомнившейся книги: «А пока мы здесь разговариваем, десять лет и пройдут сизым маревом» . . . Мы засмеялись. Тогда десять лет, записанные в наших приговорах, еще казались нам фантастикой, ценой с запросом. За это время, по нашим ученым расчетам, должно было обязательно случиться одно из двух: или Шах умрет, или ишаки сдохнут.

Мы ошиблись. Десять лет оказались реальными. Вот они близятся к концу. Уже настало 15 февраля 1946 года. До конца моего официального срока оставался ровно один год, а все было вполне стабильно: и наш обожаемый Шах, несмотря на потрясающие исторические события, все еще был живехонек, и ишаки все еще волочили по тропиикам преисподней свои грузы.

Я не очень-то надеялась, что меня освободят с наступлением календарного срока. Ведь вокруг меня все увеличивалось количество пересидчиков, расписавшихся до особого распоряжения. Но все-таки мысль о том, что я разменяла последний год, как-то поддерживала. Теперь было важно не попасть за этот год на жизнеопасные работы, продержаться тут, около своих бэка. Тем более, что я оказалась удивительно устойчивой по отношению к туберкулезной инфекции. Доктор Каламбек ежемесячно смотрел меня рентгеном — все было в порядке.

Увы! Весна принесла нашему Беличьему большие перемены, рикошетом больно ударившие и меня. Не знаю уж, по каким высшим соображениям, Савоеву от нас перевели. А место главврача заняла дородная дама по фамилии Волкова по прозвищу Волчица. В день ее прибытия нарядчик Пушкин сказал мне зловещим шепотом:

— Женщин ненавидит! Не одну уж заключенную со свету сжила . . . Еще Савоева мамой родной нам покажется . . .

— Почему именно женщин! За что?

— Кто ж ее знает! Только факт. С мужчинами по-хорошему, а бабенок . . . Может, оттого, что у нее один глаз стеклянный . . .

Как ни странно, но нарядчик оказался прав. Женщинам-заключенным надо было держать при этой начальнице ухо востро. Неизвестно, какие

навязчивые сновидения заставляли нашу новую главврачиху вставать посреди темной ночи и отправляться на охоту за подпольными любовниками. Почему она находила какое-то утешение в том, чтобы так яростно бороться за целомудрие? Почему ей нравилось ссылать на верную смерть заключенных женщин, имевших в лагере роман? Мужчин миловать, а женщин обязательно карать? Кто ж ее знает... Но тяжесть ее подозрительного, недоброжелательного взгляда я сразу остро ощутила при первом же знакомстве с ней. Не только живой, но даже стеклянный глаз, казалось, пронзал насквозь.

Однажды ночью меня разбудили бешеные удары в дверку моей кабины.

— Отворите! Немедленно! Иначе взломаем дверь!

Спросонья я не могла сразу попасть в тапочки и халат.

— Ах так!

Раздался треск сухой фанеры, из которой была сколочена самодельная дверка, — и передо мной оказались два вохровца, предводимые новой главврачихой Волковой по прозвищу Волчицей. Волосы ее были растрепаны. Лицо, когда-то миловидное, оплывшее книзу жидковатым жиром, было бледно.

— Ищите под топчаном! — скомандовала она.

Вохровцам было неловко. Они знали меня уже целый год и уважали за то, что я «подкованная по науке». Я не раз помогала им выполнять задания для заочной школы, в которой многие из них учились. А однажды я поразила их воображение тем, что прямо-таки без всякого промедления ответила на их вопрос: когда и где Сталин впервые встретился с Лениным. Сейчас они отворачивали от меня глаза и крайне лениво заглядывали под топчан.

Когда действие было окончено и я снова осталась одна, зашел перелуганный Грицько. Он доложил мне, что слышал, как, уходя, один вохровец сказал Волчице про меня: «Сурьезная, шибко грамотная баба... Никаких, стало быть, хахалей за ей не замечено...»

Тем не менее через неделю Волкова предприняла еще один налет. Такой же безрезультатный... Но однажды ночью...

Было уже часа два, когда кто-то тихонько постучался в мое оконце. Я вскочила и при слабом лунном свете различила лицо Антона. Да, это был он! Наш благодетель, начальник Тасканского лагеря, наш добрый барин Тимошкин, видя, как сохнет с тоски его придворный лекарь, нашел предлог, чтобы дать ему возможность повидаться со мной. Это было совсем не так просто — оформить заключенному врачу бесконвойную командировку. Но Тимошкин сделал это. Сто километров, лежащих между Тасканом и Беличьим, Антон одолевал целые сутки, пристроившись к знакомому шоферу, возившему по трассе неповоротливый, тяжеленный, полученный по ленд-лизу «даймонд». И хоть было уже начало апреля, но в нашем северном управлении еще жали сорокаградусные, с ветерком морозы. Антон закончил в своем тоненьком будшлате. Часть пути он шел пешком рядом с «даймондом», перегоняя его.

Могла ли я не впустить его? Я понимала, что в любой момент может нагрянуть Волчица. Я могла спрятать Антона в каморке санитаров или в палате под видом больного. Но разве думаешь об опасности, разве можешь хладнокровно рассуждать, когда свершается чудо, когда человек, о котором ты думала каждую минуту в течение года, вдруг стоит за твоим окном, точно упавший с небес, и говорит: «Это я, Женюша!»

Здорово повезло на этот раз Волчице! Она вошла как раз в тот

момент, когда мы целовались. Ее лицо озарилось радостью. Какая удачная охота! Волчица похорошела, оживилась.

— Я главврач больницы Беличье, — торжествующе провозгласила она, глядя на Антона.

— Простите, коллега, за нарушение правил. Я тоже врач. Заключение. Прошу вас понять: это моя жена. И мы не виделись целый год.

— Составьте акт, — обращаясь к вохровцам, приказала Волчица. — Заключение застигнуто на месте преступления. Принимает мужчин по ночам, используя для разврата служебное положение.

Таким образом, я все ниже скатывалась по торной дорожке разврата. С Таскана меня отправили за то, что «способствовала разврату» («зэка мужского пола в палате обратного пола!»). Сейчас речь шла уже о собственном моем развратном поведении. Именно так и было записано в постановлении о водворении меня снова в Эльген — неизменное вместилище всех колымских штрафниц, а уж блудниц-то в первую голову. Верная себе, Волчица ничего не сделала Антону. Никаких рапортов о нем в его лагерь не отправила.

Кончилось Беличье. Я снова стою с котомкой за плечами у алчных эльгенских ворот. Возвращаюсь на круги своя.

Но первая же местная новость вселяет добрые надежды. Оказывается, Циммерманши здесь больше нет. Начальником теперь майор Пузанчиков. О нем общее мнение: жить можно. Потому что он ни злой, ни добрый. На зэка ему наплевать. Ему главное — отслужить свое, заработать стопроцентные северные надбавки и вернуться на материк.

В бараке меня встретили, как в родной семье. О, это чувство тюремного родства! Самая, пожалуй, крепкая из человеческих связей. Даже теперь, спустя много лет, когда я пишу эти воспоминания, мы все, вкусившие «причастие агнца», — родственники. Даже незнакомые люди, которых встречаешь в дороге, на курорте, в гостях, сразу становятся близкими, как только узнаешь, что человек был ТАМ. Был... Значит, он знает то, что недоступно не бывшим, даже самым благодарным и добрым.

Два года я не была в Эльгене. Два года не видела своих спутниц по Ярославке, по Бутырмам, по этапам. Жадно глотаю новости. Вилли Руберт освободилась. Мина Мальская умерла. У Гали Стадниковой уже двое родившихся в лагере ребят растут в комбинате. Группу пересидчиков освободили. Нарядчиком сейчас Аня Бархаш, политическая...

Все это важно для меня, все волнует, огорчает или радует. А вечером — давно не испытанное счастье сокровенного разговора с людьми своего круга интересов, общей одержимости литературой. Беличчинская Волчица, наверное, сочла бы меня ненормальной, увидав, как мы с Бертой Бабиной, только встретившись, уже уселись за печкой читать друг другу стихи. И как разъярилась бы Волчица, увидав, каким теплом был наполнен для меня этот первый вечер на страшном Эльгене. Каждую возвращавшуюся с работы еще у дверей встречали возгласом: «Женя вернулась!»

Наутро, по совету Ани Бархаш, я встала в очередь к новому начальнику лагеря. За столом Циммерманши сидел статный красивый блондин лет тридцати пяти, немного похожий короткими бакенбардами, прозрачностью светлых глаз и блеском мундира на литографию императора Николая I. Но в отличие от императора, Пузанчиков явно не чувствовал особого аппетита к своей работенке.

Он скользнул по моему лицу рассеянным взглядом, пропуская мимо ушей не только мои слова, но и рекомендацию Ани Бархаш, которая, по заранее обдуманной тактике, должна была говорить обо мне скучным голосом. Вот, дескать, прибыла с Беличьего — почему прибыла — ни полслова, и Пузанчиков не любопытствует — опытная медсестра, но у нас сейчас медицинских мест свободных нет, срок-де остается небольшой, последний год разменяла . . . Пожалуй, на агробазу послать?

Аня проводит свою роль отлично. Мы так с ней и решили: после того, как я «погорела» на Беличем, лучше всего побыть в тени, на общих работах. Пузанчиков равнодушно кивнул в знак согласия — на агробазу.

Это были общие, но вполне выносимые работы. На таких можно было продержаться. Агробазовцы жили в центральной зоне, им меньше угрожали дальние этапы. На агробазе можно было постоянно жевать какие-нибудь верхки и корешки, а значит — бороться с цингой. Меня поставили на пикировку капусты. Теперь я уже начисто забыла, что именно мы делали. Помню только, какие-то автоматические однообразные движения рук над стеллажом и ноющую боль в ногах, сильно отекавших к вечеру. С непривычки мне было довольно трудно выстаивать на ногах двенадцать часов кряду, так что я даже обрадовалась, когда кусок стекла с крыши теплицы, упав под большим давлением, вонзился мне в руку, как кинжал, вызвал артериальное кровотечение и обеспечил мне освобождение от работы на три дня.

Я лежала на нарах, наслаждаясь блаженным ничегонеделаньем, когда нарядчица Аня Бархаш вошла в пустой барак и взволнованно спросила, могу ли я с этой раненой рукой быстро собрать свои вещи.

— Этап?

— Вроде . . . Да не бледней ты! На Таскан едешь, к своему доктору! Повезло! Выменяли тебя на печника. Только быстро! Конвоир уже ждет.

Мы расстелили прямо на полу старую фланелевую шаль нашей няни Фимы, — уже десятый год она служила мне верой и правдой на всех этапах! — и стали быстро скидывать туда мое барахло. Потом связали большой узел. Боль в руке и гулкие удары сердца заглушали Анин сбивчивый рассказ, но основное я все-таки уловила. Наш благодетель, наш добрый Тасканский барин сдержал свое обещание.

— Входит он в УРЧ, — рассказывала Аня, — а там, как наудачу, дымище, печку растапливают! «Что это, — говорит он нашему Пузанчикову, — неужто дельного печника у тебя нет? Хочешь, своего дам? Все печи наладит . . . Только дай мне за него в обмен одну бабенку . . .» А Пузанчиков ему: «Да бери хоть пяток, у меня их навалом . . . Право, возьми трех, а то мне вроде совестно: неравноценный обмен». В общем, договорились! Сам Тимошкин уехал, а конвоира своего тут оставил. Очень торопит конвоир . . . Беги на вахту!

Все было как в сказке. Исполнялись самые дерзкие мечтания. И вот я уже сижу в кузове тряского грузовика на своем узле и полной грудью вдыхаю испарения обнажившейся, снявшей зимний покров земли. Весна. В записке Антона, переданной самым патриархальным образом — через конвоира! — сообщается, что сегодня третий день католической Пасхи.

Капель, капель . . . Большая сосулька рухнула с крыши управления совхоза. Стукнула прохожего по фуражке. Прохожий чертыхается, смеется, потряхивает блестящие льдинки. Мы с конвоиром тоже смеемся. У конвоира отличное настроение. Он закуривает, мурлычет «Катюшу», всматривается в несмело синеющую колымскую даль. О чем думает?

Наверно, о том же, о чем и я. Что вот все-таки довелось еще одну весну встретить . . . И то сказать: при такой войне у него шансов на жизнь было, пожалуй, не больше, чем у меня. И вот выжили оба. Брызги от колеса, угодившего в колдобину, пятнают мою телогрейку и его шинель. Мы отряхиваемся, чистимся, и эта общая неприятность еще больше внутренне сближает нас . . .

На трассе «голосует» человек. Берем его в кузов! День чудес! Он оказывается знакомым. Это бывший московский молодой литератор Иван Исаев. Теперь он уже не очень-то молодой, срок — восемь лет — отбыл и стал в качестве вольного каким-то экономистом тут, в тайге. На материк не едет, ждет невесту. А невеста его — Галочка Воронская, дочка того самого Александра Воронского, — пересидчица, расписалась «до особого».

Потолковав про последние лагерные новости, мы вдруг углубляемся в обсуждение литературных событий десятилетней давности. Исаев, видать, страшно соскучился в обществе колымских экспедиторов. Он рад такой беседе, и мы говорим без умолку, пока наш конвой не подытоживает задумчиво:

— Черт-те что! Люди вы вроде русские . . . И по-русски гитарите . . . А вот же ни бум-бум понять невозможно! И что за слова у вас за птички . . .

Прибыли! Вот они, заветные ворота Тасканского рая! Меня вводят в зону. Как раз посреди двора стоит начальник Тимошкин.

— О-о-о . . . — притворно изумляется он, — опять к нам? А я и не знал, что вас направили . . .

Это для тех, кто проходит мимо. А для меня — летящие из узких глаз заговорщические чертики. Тимошкин сияет. Приятно делать добрые дела.

С крыльца больницы уже бежит навстречу Антон, полы его белого халата надуваются весенним ветром.

Если бы все это могла видеть беличьиная Волчица, поборница высокой нравственности!

Глава двадцать восьмая

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

Насколько из года в год возрастали беззакония в нашем мире отверженных, можно было судить хотя бы по тому, как изменился смысл этого ходячего лагерного выражения: от звонка до звонка.

Раньше так говорили в отрицательном смысле. Дескать, не подпал человек ни под какие льготы: ни амнистии, ни зачеты за хорошую работу, ни досрочное освобождение на него не распространились. Просидел весь срок, как записано в приговоре, — от звонка до звонка.

Сейчас, на десятом году моего маршрута, после войны и победы, именно тогда, когда ждали мы все от правительства небывалых милостей, выражение «от звонка до звонка» стало употребляться наоборот, в смысле положительном. Человека освободили вовремя, как записано в приговоре, ему повезло, его не расстреляли за «саботаж», не дали нового срока, не сделали пересидчиком.

А их, пересидчиков, с каждым днем становилось все больше, поскольку календарь все ближе придвигал нас к десятилетию массовых репрессий тридцать седьмого. Никто не мог понять, по какому принципу попадают в пересидчики, почему одних (меньшую часть) все

же выпускают из лагеря, хоть и со скрипом, как бы через силу, а других, наоборот, загоняют в эту страшную категорию людей, оставляемых в лагере «до особого распоряжения».

В бараках спорили на эти темы до хрипоты, но установить закономерностей так и не удалось. Только что кто-то блестяще доказал: до особого оставляют тех, у кого есть в деле буква Т, троцкизм, клеймо дьявола. Но тут вдруг освобождается Маруся Бычкова с этой самой роковой буквой. А Катя Сосновская — без этой буквы — расписалась «до особого». Ага, значит, не выпускают тех, кто бывал за границей! Но на завтра игра начальственных умов разрушает и это предположение.

Я внутренне давно поняла, что в нашем мире обычные связи причин и следствий разорваны. Ни Кафку, ни Орвелла я тогда еще не читала, поэтому логики этих алогизмов еще не угадывала. С замиранием сердца отсчитывала месяцы и недели до моей заветной даты — пятнадцатого февраля 1947 года, я не подводила под свои страхи и надежды никаких закономерностей. Что можно предсказать, когда играешь в шахматы с орангутангом?

И я просто гадала по принципу — орел или решка? Чаще казалось: не выпустят. Я уже почти не могла представить себе волю, она была чем-то расплывчатым, неконкретным. Мысль об отъезде с Колымы даже в голову не приходила. Я была абсолютно уверена, что Сталин никогда не простит тех, кому он сделал такое страшное зло, знала, что всякий, попавший в это колесо, никогда из него не выберется. Речь могла идти только о передышке, о временном послаблении, о выходе хотя бы за проволочную ограду. И я жадно мечтала об этом.

Некоторые наши, выходя из лагеря, сейчас же направлялись на материк, не задумываясь над тем, что вместо паспортов у них волчьи билеты. Я отговаривала многих. Лучше вызывать детей сюда. Там, на Большой земле, даже в самой глубокой провинции, новый арест неизбежно последует, как бы тихо и незаметно ты ни таился в своей норе. Многие называли меня за такие прогнозы пессимисткой, но жизнь показала, что я была, наоборот, чрезмерно оптимистична, надеясь, что хоть здесь-то, на Колыме, нам дадут спокойно дожить на положении ссыльных. Через несколько лет повторные аресты дошли и до Колымы, чего я не предвидела.

Во всяком случае, я твердо решила на материк пока не возвращаться. Правда, меня мучило сознание, что я не увижу больше маму. Но Ваську, последнюю мою уцелевшую кровиночку, я надеялась добыть сюда. Вершиной счастья мне казалась комнатешка в вольном поселке Таскан, где мы с Васькой будем ждать освобождения Антона. Ждать надо было еще шесть лет.

А пока что я мирно досиживала свои последние лагерные месяцы, охраняемая от бурь покровительством Тимошкина. Он направил меня в вольный детский сад на должность медсестры.

Недостаток солнечных лучей и витаминов наложил печать и на маленьких колымских вольняшек. Они были не по возрасту медлительны, недостаточно резвы, часто болели. Но все-таки это были домашние дети, которых приводили и уводили мамы и папы, которые не разрывали сердце так, как дети заключенных в эльгенском деткомбинате.

Среди персонала этого детсада я была единственной заключенной. Остальные были комсомолки, прибывшие на Колыму по в е л е н и ю с е р д ц а, для освоения Крайнего Севера. Правда, как они сами говорили, у многих были еще и дополнительные соображения насчет

выхода замуж. После войны женихи на материке стали на вес золота, а здесь их было сколько угодно, наоборот, все еще ощущалась нехватка женщин, особенно вольных. Комсомолки с редкостной быстротой выходили замуж за вохровцев, режимников, администраторов лагерей и приисков. Некоторые, строптивные, презрев прямые запреты, сразу заработали выговоры, а то и исключение из комсомола за романы с бывшими заключенными.

Те девушки, с которыми я столкнулась в тасканском детском саду, первые дни приглядывались ко мне с опаской. Но потом победило здоровое чувство реальности: они больше поверили своим глазам, чем тому, что слышали на специальных инструктивных собраниях. А видели они, что я работаю не ленясь, всегда готова подменить любую из них. Ведь спешить мне было некуда: конвоир приводил меня к восьми утра и приходил за мной к восьми вечера. Прежние тасканские вольности так и не восстановились, теперь режимник строго следил, чтобы заключенные женщины не ходили по поселку без конвоя.

Заведовала детсадом жена начальника взвода вохры, женщина лет тридцати пяти, очень гордая тем, что она окончила дошкольное педагогическое училище. Она говорила об этом каждое утро, на летучке, причем подробно рассказывала, как она выбилась в люди «из простых». Прежде, мол, она и говорить-то правильно не умела. Всё, бывало, говорит не «физика», а «хвизика», не «Федор», а «Хведор». Заведующая мило смеялась над своей тогдашней темнотой и добавляла горделиво, что теперь-то она знает твердо: не хвизика, а физика, не хризантема, а ФРИзантема . . .

Ко мне заведующая отнеслась сперва недоброжелательно. Я даже слышала, как она громким шепотом жаловалась поварихе на выходки Тимошкина. Тоже придумал: контрика к детям приставить! Неохота только обострять с ним, поскольку он мужу начальник . . .

Завоевать сердце заведующей мне помогло пианино, стоявшее до моего прихода запертым на ключ, под плотным суровым чехлом. Заведующая не подпускала к нему комсомолку Катю, игравшую по слуху. Нет, брэнчания заведующая не допустит. Пианино откроется только для того, кто сумеет сыграть по нотам то, что напечатано в сборнике «Песни дошкольника». Я предложила свои услуги. Лед был сломлен. А через месяц меня признали настолько, что я стала сочинять от имени заведующей планы детских утренников к торжественным датам. В районе ее очень хвалили. А вольное население поселка Таскан с умилением взирало на своих детей, поющих под аккомпанемент фортепиано и разыгрывающих драматизированные сказки.

(Я с удивлением обнаружила попутно, что Антон до смерти любит декламирующих малышей и не может без волнения видеть, что я «обучена на фортепьянах». Пользуясь своими докторскими привилегиями, он не пропускал ни одного такого утренника и комично умилялся вместе с родителями ребят. Эти патриархальные, наивные краски придавали его образу какие-то новые трогательно-смешные оттенки. Было удивительно, что к вечеру того же дня он снова становился, как всегда, пронзительно умным и часто отвечал на вопросы, которые я еще не успела задать. Эти вечерние тасканские немногословные беседы остались одним из самых сокровенных воспоминаний, каким-то воплощением мечты о том, чтобы «без слова сказаться душой было можно . . .».)

Близился сорок седьмой. Уже можно было сосчитать не только месяцы, но даже недели и дни, оставшиеся до моего «звонка». Антон предложил

устроить встречу Нового года в его больничной кабинке. Но режимник категорически сказал, что ночью он женщину, то есть меня, в мужскую зону не пустит. Тогда Антон нашел такой выход: встретим Новый год в восемь утра по местному времени. По-материковски это и будет как раз полночь. А нам ведь важен именно материковский, а не колымский Новый год.

Встреча состоялась. Я сварила на больничной плитке заготовленные загодя пельмени с олениной. Конфуций торжественно водрузил на процедурный столик бутылку портвейна, ждавшую этого случая уже давненько. Санитар Сахно расставил мензурки для вина и жестяные мисочки для закуски. Зимний колымский рассвет еще не брезжил, и мы включили для подъема настроения яркую лампочку, временно взятую в морге, где она сияла над столом для вскрытия трупов.

Нас было шестеро за этой новогодней трапезой: Антон, Конфуций, Сахно, бывший дипломат Березов, ставший теперь медстатистиком нашей больницы, профессор-химик Пентегов, наш вольный гость, бывший ээка, а сейчас инженер пищекомбината. Я была за этим столом единственной женщиной. Сейчас, больше двадцати лет спустя, я единственная, кто еще остался в живых из этих шести. Очень точно сказано в стихах Слуцкого: «То, что гнуло старух, стариков ломало». Правда, мы не были тогда стариками, но формула эта вообще годится для женщин и мужчин любого возраста.

Бедные наши спутники! Слабый пол... Они падали замертво там, где мы только гнулись, но выстаивали. Они превосходили нас в умении орудовать топором, кайлом или тачкой, но далеко отставали от нас в умении выдерживать пытку.

Мы подняли свои мензурки за свободу. Мы жаждали ее алчно, страстно, неутолимо. Именно это общее томление по свободе и делало нас собратьями.

А на другой день — именно в день первого января! — снова пришлось ощутить себя вещью, перекладываемой кем-то из мешка в мешок. Как гром среди ясного неба прозвучал для нас приказ Севлага о ликвидации в тасканском лагере женского отделения и об отправке всех восемнадцати женщин-заключенных... Куда же? Конечно, на Эльген!

— Всего полтора месяца, Женюша, — заклинал Антон, сжимая мои руки. — Шесть недель. Они пройдут незаметно... А там — пятнадцатое февраля и твое освобождение. Потерпим... Ведь теперь Циммерманши там нет. А я уже договорился по телефону с Перцуленко — это главный врач эльгенской вольной больницы — ты будешь у него работать медсестрой. А я тем временем подыщу тебе здесь на Таскане комнату. И ты сразу после освобождения приедешь снова сюда.

Он старательно перечисляет разные бытовые подробности нашего будущего устройства, чтобы поглубже упрятать в них страх перед призраком пересидживания.

Нас грузят, всех восемнадцать тасканских женщин, в кузов грузовика. Двадцать два километра пути, которые птицей пролетели, когда я ехала сюда весной, теперь, при направлении к Эльгену, кажутся бесконечными. Январская стужа сковывает все тело, склеивает ресницы, колет щеки. К тому же знаменитые эльгенские ворота не открывались перед нами добрых полчаса: кто-то в УРЧ задержался с оформлением наших списков, и мы коченели в кузове до беспамятыства.

Намучившись, я не могла уснуть ночью и, лежа на вторых нарах, металась в каких-то полубредовых видениях наяву. Назойливо привязалась мысль, что моя судьба похожа на игру в крокет, любимую

в детстве. Вот уже вроде бы пройдены трудные воротца, а тут вдруг тебя крокируют и угоняют из-под ноги твой шар. Он стучается о колышек — и все! Начинай сначала! Вот и опять я стукнулась об эльгенский колышек. Но ведь до пятнадцатого февраля — только шесть недель. Даже шесть недель без одного дня . . .

Доктор Перцуленко, знакомый Антона и его почитатель, сдержал свое слово. Я стала медсестрой в вольной больнице. Работала судорожно, не давая себе отдыха. Прослыла сразу трудягой. Напряженная, без малейшей передышки работа была тем единственным способом, каким можно было удерживать себя в каком-то равновесии при постоянных метаниях от надежды к отчаянию.

Едва вернувшись в зону с работы, я мчалась в барак обслуги, где жила нарядчица Аня Бархаш. Что нового? Какие сегодня списки? На освобождение или на пересидку? Обычно такие списки приходили из управления лагерями дней за десять до окончания календарных сроков. Аня, терпеливо вздыхая, рассказывала мне все новости, и мы начинали вместе проникать в высшие соображения начальства. Мы пытались постичь их своими жалкими пятью чувствами. Конечно, мы давно отбросили самую мысль о законе или справедливости. Теперь мы судили, только становясь на ИХ точку зрения, прикидывая, как будет выгодной для НИХ. И все равно получались те же шарады. Таню выпускают, хоть она и жила долго во Франции. А Нину задерживают, хотя она вообще нигде, кроме Саратова, не бывала. Катю выпускают, хоть у нее буква Т, а ее сестру, без всякого Т, оставили «до особого».

Чем ближе подходила моя дата, тем больше я теряла власть над своими нервами. Меня просто лихорадило от постоянной смены предчувствий.

Но вот однажды . . . ранним утром, еще до развода, дверь барака взвизгнула с какой-то необычной интонацией. Аня Бархаш задыхалась от бега. Так и не совладав с дыханием, она сумела выкрикнуть мне одно только слово:

— Пришло!

Пришло мое освобождение. Очередной список на выпуск из лагеря, и в нем есть мое имя.

Почти не помню, как прошли эти последние две недели. Остались в памяти только телефонные звонки Антона во время моих ночных дежурств в больнице и его уговоры — держать себя в руках и, сохрани Бог, не напутать чего-нибудь в процедурах с больными.

И вот настал этот день. Еще накануне, на вечерней проверке, мне объявили, чтобы я завтра на работу не выходила, а к девяти утра явилась в УРЧ.

Было еще совсем темно. Косые секущие струи мелкого снега схлестывались в луче прожектора, идущего с дозорной вышки. Ноги разъезжались на грязном льду, изузоренному обильными подтеками из уборных.

Передо мной в очереди к начальнику УРЧ Линьковой стояла уголовница-рецидивистка. Линькова была не в духе. Ее хорошенькое стандартно-блондинистое личико отекло, веки распухли. Наверно, «переживала» что-нибудь семейное.

— Ну как? Надолго от нас уходишь? — скучным голосом спросила она уголовницу, показывая ей своим ярко-красным полированным ногтем, в каком месте та должна расписаться об освобождении из лагеря. — С новым-то, говорю, сроком скоро ли тебя ждять?

— А кто же его знает, — так же равнодушно отвечала девка, выводя непривычной рукой каракули под бумажками. — Как пофартит . . . С

навигацией думаю на материк податься. Ну а там, ежели и погорю, так, может, все не на Колыму, а куда ни то... На Потьму, аль в маринские...

Моя очередь. Тот же равнодушный взгляд Линьковой. Она позевывает с закрытым ртом, и от этого на ее кукольных глазах навертываются слезы.

— Вот тут распишитесь. Пятьдесят восьмой статье «форма А» выдается не у нас, а в Ягодном. А вам пока временная справка для милиции. Еще здесь распишитесь...

Я с благоговением складываю справку вчетверо, как складывала документы наша няня Фима. Куда положить эту драгоценность? Мой первый документ за последние десять лет. Мандат на выход за ворота эльгенской зоны. После некоторого раздумья кладу его — бережно, осторожно — на грудь, за лифчик.

Дневальная тетя Настя, старая знакомая еще по Бутыркам, уже собрала мои вещи, пока я ходила. Она мелко крестит меня.

— С Богом! Давай, подсоблю вещи-то до вахты... Где ночуешь? Поди в вольной больнице?

— Что ты! Я сейчас же, сию же минуту еду на Таскан. Антон Яковлевич уже снял мне комнату в вольном поселке.

— А ему-то скоро ли освободиться?

— Еще шесть лет...

Тетя Настя мрачнеет.

— Глуповата ты, девка! Десятку отмахала да еще шесть хочешь своей волей у вахты отстоять? Мало ли мужиков-то! Вольного найди, пока не старая!

На вахте сегодня дежурит Луговской. Он знает меня с сорокового года и всегда хорошо ко мне относился. Сейчас он удивленно глядит на меня сквозь свое окошечко.

— Куда это с вещами?

— На волю. Совсем ухожу.

— Да ну? Как так?

— Очень просто. Десять лет кончились. От звонка до звонка.

Он просто-таки разволновался от моего сообщения. Привыкают люди друг к другу, несмотря ни на что. А это хороший человек. Один из тех, о которых писал когда-то Короленко: «Добрые люди на скверном месте»...

Луговской выходит из дежурки в холодную проходную, где я стою со своим узлом, деревянным чемоданом и волшебной бумажкой, отворяющей эти двери.

— Ну, коли так — поздравляю, — говорит он и протягивает мне руку. Потом огорченно покачивает головой и произносит в святой своей простоте вполне серьезно известную фразу из пьесы Погодина: — Лучшие люди, понимаешь, уходят... Скоро один рецидив останется. С кем только работать будем! Ну да ладно! До свиданьица, значит, вам...

— Что вы! — в ужасе восклицаю я. — Что вы, разве можно так говорить! Не до свиданья, а прощайте! Прощайте навсегда!

— Кажись, не обижали, — оскорбленно ворчит он и нехотя отдергивает большой железный болт.

Я выхожу за вахту. Анемичный синюшный рассвет смешивается с поблекшими лучами прожекторов. Откуда-то издалека доносится лай овчарок. По дороге плетется возчик воды на бычке.

— Эй, давай сюда, с вещами-то! Довезу хоть до бани, — добродушно предлагает он.

Нет, нет! Разве мыслимо так тащиться, как этот дурацкий бычок!

И я припускаю, перегоняя бычка намного. Я почти бегу, не чувствуя ни тяжести вещей, ни стужи, спирающей дыхание.

Всему на свете приходит конец. Даже Эльгену.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

ХВОСТ ЖАР-ПТИЦЫ

В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как, казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный Военной коллегией, Трибуналом, Особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее . . .

Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего «звонка», все еще уповая на незыблемость Закона.

Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее «подкованных» теоретически заключенных-марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим — большинству — предлагалось расписаться «до особого распоряжения» и оставаться в лагере теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного, назначенного судом срока? Это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку.

Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над нами, у остающихся в лагере могло возникать недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую: освобождавшимся никто не завидовал! Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искажались злобой лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишние десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть к каким-нибудь чуням первого срока или к месту на нижних нарах . . . И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, не защищенные условными масками.

А вот освобождавшимся не завидовали! Все темное, крошечное исчезало, как по волшебству, когда дело заходило о ВОЛЕ, пусть даже о куцей, худосочной колымской «вольнонаемности» (ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространялись высшие соображения: одним разрешался выезд на материк, другие оставались в тайге).

Да, именно здесь, в заключении, я встретилась с этим талантом СОРАДОСТИ, гораздо более редким и трудным, чем талант СОСТРАДАНИЯ. Парадокс? А может, не такой уж парадокс? Я всегда, еще с детства, обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным

зверьком, затесавшимся случайно в город. Ну, скажем, еж или белка . . . Как преображаются лица! Как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота! Удивительный появляется ответ на лицах. Он просвечивает через маску зла.

Вот такими становились и лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз. Не в этап, а за зону! Это было выражение бескорыстной радости. Наверно, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоянием человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, — прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, — прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал СВОБОДУ, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара.

Студенным утром 15 февраля 1947 года этим драгоценным сосудом — вместилищем СВОБОДЫ — была я.

Не успела я показаться на пороге эльгенской вольной больницы, где проработала свои два последних эзовских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. И я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки **МОЖНО** выйти!

Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка, сектантка, адвентистка седьмого дня, вытаскивала из-под полы халата мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки и требовала, чтобы я ела кашу тут же, на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожила я до великого преображения, до двенадцатого дня, до какого дай Боже и всем дожить.

Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривала мою телогрейку, пожимала плечами, находя такой вид абсолютно невозможным для вольной жизни, и вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее платье и чулки. О пальто подумаем после . . . Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двенадцатом дне, Матильда твердила теперь о возвращении к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова и даже день защиты был назначен.

Истопник Гариф, сидящий по статье 59-3 — бандитизм, стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразу ехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делила горе с их братом, достойным Гарифуллой-оглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни.

Все были настолько наэлектризованы, что даже фельдшер Коля, тяжелый заика, без малейшей запинки выкрикнул несколько фраз подряд.

— Быстро! К телефону! Таскан на проводе! Третий раз уже звонит . . . С ума сходит . . . Икру мечет . . .

Трубка вибрировала, трепетала, захлебывалась тревогой, не решалась выговорить роковой вопрос. Только твердила с вопросительной интонацией: «Это ты? Это ты?»

— Да, да, да! Да, освободилась! Да, расписалась, что мне объявлено об освобождении . . .

От волнения трубка вдруг переходит на немецкий. А я — тоже от волнения — вдруг утрачиваю способность связать в смысловое целое все эти ум, аб, нах, геворден верден . . .

— Говори по-русски! Сегодня я забыла все слова, кроме русских. Скажи, когда ты выезжаешь за мной?

У нас уже давно было сговорено: сразу после освобождения и выхода за зону лагеря я иду в вольную больницу, жду здесь звонка из Таскана, подтверждаю свое освобождение (до последней минуты мы в нем сомневались, ведь бывали и такие случаи, что отменяли в последний момент), и тогда Антон выезжает за мной. Лошадь и санки обещал расстараться начальник тасканского лагеря Тимошкин.

Антон переходит на русский, но я все равно почему-то не понимаю, что он хочет сказать. Что-то все о погоде . . .

— Десять баллов . . . При температуре . . . Прогноз на ближайшие три дня . . . Придется . . .

— Ничего не понимаю! Метеосводка какая-то . . . Очень плохо слышно! Говори скорей, когда выезжаешь! Громче!

Трубка воет и ухает, трещит и булькает. Наконец затихает совсем.

Битых полчаса мучаюсь с деревянным допотопным аппаратом. Кручу ручку, отчаянно взываю к станции . . . Но вот в дежурку входит главный врач вольной больницы Перцуленко. Он из тех вольняшек, что всегда пристально присматривались к жизни заключенных. Из тех, кто не побоялся вступить в отношения личной дружбы с заключенным немецким доктором. Он жмет мне руку, поздравляет, сулит какие-то немыслимые успехи в новой жизни. А главное, он предлагает мне гостеприимство на три дня.

— С погодой вам не повезло. Доктор Вальтер только что прорвался по моему домашнему телефону. Просит передать вам: начинается буран, жук идет. Прогноз на ближайшие три дня ужасен. Лошади не проехать. Пешком опасно. Мы с женой предлагаем вам пожить эти три дня у нас. Так и с доктором Вальтером договорились. А как только стихнет непогода, он за вами приедет . . .

Слова главврача, эти любезные слова, не имеющие никакого отношения к моему душевному состоянию, доходят до меня как сквозь толщу воды. Из всего сказанного я усвоила только одно: Антон советует мне пробыть в Эльгене еще три дня. ДОБРОВОЛЬНО остаться еще на три дня в Эльгене!

Нестерпимость оскорбления жгла меня. Господи, как я несчастна! Второй час, всего только второй час длится моя новая, моя вольная жизнь — и уже такой удар. И кто его наносит! Самый близкий человек! Да как у него язык повернулся сказать такое! Чтобы я по своей воле осталась в Эльгене! На три дня! На три часа! На три минуты!

Перцуленко делает еще раз попытку воззвать к моему здравому смыслу. Всего три дня. Чего они стоят сравнительно с десятью годами! И ведь не в лагере ждать, а в вольной квартире . . . Ведь это смешно: пережить все, чтобы потом замерзнуть на трассе. Колымские бураны — не шутка. Уж я-то должна это знать.

Я, конечно, знала. Мне ли не знать . . . Сколько историй о гибели целых этапов и отдельных людей слышалась я за свой срок! Но ведь всего-то двадцать два километра. Что мне, таежному волку, эти несчастные двадцать два, да еще по прямой трассе, не сворачивая в сторону! А потом — неизвестно, когда именно разыграется этот бу-

ран... Ошибки в прогнозах могут измеряться сутками. Знаем мы точность наших метеорологов!

Накинув телогрейку, я выбежала на больничный дворик. Ну так и есть — все выдумки. День как день. Вот и градусник. Всего-то тридцать пять. Отличный просто день. Даже солнце пробивается.

Решение созревает сразу. Только надо уйти так, чтобы никто не заметил. Истопник Гарифулла колет дрова у крыльца. Он ничего не знает ни о предсказании бюро погоды, ни о моем разговоре с Перцуленко.

— Гарифулла, будь другом, вытащи из тамбура мое барахло. Пойду я.

— Куда?

— Да на Таскан иду. Там меня берут в детсад работать. По вольному найму.

От моих собственных слов меня охватывает острый приступ тоски. Какой серостью обернулся сразу этот взлелеянный в мечтах, годами вымаливаемый первый день свободы! Торчать в Эльгене еще три дня? Пугаться какого-то там бурана, еще неизвестно кем предсказанного? Останавливаться в бессилии перед двадцатью двумя километрами после того, как я отмахала такие расстояния через выюги, через злобу, через Эльген, Мылгу и Известковую... И это совет Антона!

В этот момент раздражение мое против него не знает границ. Где же наше пресловутое взаимопонимание? Где те вечера, когда он отвечал мне на невысказанные вопросы, на мысли, только что пронесшиеся в моем сознании?

Итак, я иду на Таскан только для того, чтобы там работать? Ну, конечно. Ведь работать надо. Надо посылать деньги Васе и маме. И буду работать. Только бы не в Эльгене. Здесь слишком много меня растапывали. Здесь самый воздух пропитан зловонным дыханием тюремщиков. В течение семи лет все человеконенавистническое, все сатанинское, все смертоносное воплощалось для меня в этом слове — Эльген. И пускай, пускай буран сметет с меня его следы, пускай я очишусь в потоках ветра и снегопада...

Гариф ничуть не удивляется, что я потащу одна свой чемодан и узел целых двадцать два километра. Он пригляделся за свой срок к женщинам, таскающим трехметровые баланы, валящим строевой лес. Он совсем запросто помогает мне вскинуть узел на плечи.

— Ну, айда, с Богом! Работай мало-мало до навигации, а весна придет — в Азербайджан езжай! Письмо дам — как сестру встретят. Ну, ни пухам, ни перам!

Гариф любит русские поговорки с тюркскими суффиксами.

И вот я на трассе. Позади остались эльгенские строения. С каждым шагом все дальше от зонных вышек. Я иду. Снег скрипит под ногами очень сухо и категорично. Под этот скрип хорошо выговаривать по слогам: «ни-ког-да, ни-ког-да...» Я полна решимости забыть, что существует под луной такая земля — Эльген. Вспоминая, как одна из маминых вещевых посылок, посланных мне в войну, потерялась. А мама, бедная, все спрашивала меня потом в письмах: «Может быть, я перепутала адрес? Может быть, есть еще один Эльген?» А я отвечала ей: «Нет, мамочка, к счастью для человечества, Эльген у нас только один...»

С полчаса я иду очень хорошо и легко. Привычная. Сколько их оттопано, этих таежных километров! Сударь. Теплая долина. Змейка. Мылга. Известковая. По нехоженой тайге ходила. А здесь что! Здесь трасса...

Ходьба успокаивает. Мысль, что я все-таки вольная, иду куда мне заблагорассудилось, никого не послушалась, необычайно мне льстит. Двадцать два. Всего двадцать два километра. Если таким темпом, то засветло буду в Таскане. И я торжествую, представляя себе, как ахнет это чудовище, увидев меня. «Ну, как тут у вас с метеослужбой?» — спрошу я и, не дождавшись ответа, гордо направлюсь к месту своей службы. Пусть бежит за мной и просит прощения порусски и по-немецки.

Вот только вещи... Пальцы, сжимающие грубую железяку — самодельную ручку деревянного чемодана, затекли, одеревенели. Почему бы не сделать привал? Тем более, что самой-то мне пока совсем не холодно. Только руки, а их я сейчас разотру снегом.

Я присела на чемодан, оттерла пальцы рук, вытащила из кармана промерзшую горбушку — прощальный дар истопника Гарифуллы — и принялась было за нее, как вдруг...

Вдруг что-то просвистело у меня в ушах пронзительным захлебывающимся свистом, и я всем телом, всем натренированным чутьем таежника поняла: начинается. Нет, эту мысль надо гнать. Мало ли что могло свистнуть! Может, от резкого поворота головы? Ведь вот небо-то совсем чистое, серовато-голубое. И ветер не сильнее обычного.

Так я успокаивала себя, но внутри уже все напряглось. Снова вглядываюсь в небо. Какая-то свинцовость в очертаниях пока еще небольших тучек уже, несомненно, появилась. И снежная пыль, обдувающая лицо, с каждой минутой становится все более колкой. А главное — на трассе абсолютная тишь и безлюдье. Неужели все, кроме меня, поверили в прогноз погоды?

Да, расслаживаться тут на чемодане, конечно, не стоит. Надо жать и жать, чтобы как можно скорее, засветло, дойти хотя бы до Тасканской электростанции. Там уж в крайнем случае можно и заночевать.

Я решительно зашагала дальше. Только теперь мои валенки уже не выскрипывали «ни-ког-да, ни-ког-да». Теперь получалось что-то другое. «Все было мрак и вихорь... Все было мрак и вихорь...» Только почему «вихорь», а не «вихрь»? Да потому, что это из «Капитанской дочки»... Мрак и вихорь... Мрак и вихорь... А ведь и вправду потемнело.

Поземка мела уже вовсю, да и снегопад усиливался. Все мое лицо было теперь залаяпано снежными колючками. Они становились все более острыми и въедливыми.

Колымская вьюга отличается от других вьюг не только своей интенсивностью. Главное ее отличие в том, что она несет с собой ощущение первобытной незащищенности человека. Вот уж поистине разные бесы кружатся в ней. Как будто крутит, воеет и норовит сбить тебя с ног почти одушевленная дьявольская сила. Она будит в тебе какую-то прапамять, какую-то неандертальскую тоску. Ты — воистину голый человек на голой земле.

Я знала это давно. Еще в сорок первом, шагая в одном из местных коротких этапов, сочинила стихи «Подражание Лонгфелло», где ставились риторические вопросы. «Что вы знаете о снеге?», «Что вы знаете о ветре?»

... Он несется, злопыхая, разрушитель перевозданный,
И трепещут адской рябью все моря и океаны,
И в тоске дрожат вершины от Тянь-Шаня до Ай-Петри...
Разве вы слышали это? Что ж вы знаете о ветре!

И дальше:

... Вы не шли сквозь стон и ужас, дикие, как печенег,
Вы не знали этой стужи... Что ж вы знаете о снеге!

Сейчас я вспомнила эти стихи и задохнулась от усилия, от принятого мной решения выстоять, обязательно выстоять под напором ледяного ветра и растущей внутренней тревоги.

Трудно сказать, сколько времени прошло с момента моего выхода из Эльгена. Часов у меня, конечно, не было. Сколько же километров позади? Сколько еще осталось? Если бы не этот проклятый чемодан? Уж не бросить ли его? В нем в общем-то одна рвань. Нет. Эту рвань прислала мама. Голодная, несчастная, героическая моя мама. Сидела там где-то в эвакуации, в рыбинской убогой каморке, и штопала эти старые варежки, пришивала суровыми нитками пуговицы к этой до-исторической жакетке. Нельзя бросить чемодан!

Светлые островки в разрывах туч уменьшались с трагической быстротой. Все с большей яростью нагнеталась скорость ветра. Чем дальше я шла, тем больше меня охватывало ощущение враждебности стихий и полного одиночества. Я отчаянно цеплялась за спасительную мысль: ведь с каждым шагом я удаляюсь от Эльгена. Но тем не менее я начинала выбиваться из сил.

Вперед, вперед... Ах, если бы знать, сколько еще осталось! Пожалуй, я сейчас на половине пути. Я снова поставила чемодан на землю и стала растирать ооченелые пальцы. И тут-то...

Сначала мне показалось, что это мираж в снежной пустыне. Силуэт человека, идущего навстречу мне. Издалека откуда-то. Он то исчезал совсем из поля моего зрения, то снова вырисовывался в белой мгле.

Сложное чувство испытывает путник, идущий по колымской трассе, увидав человека, идущего навстречу. Первый импульс — радость. Ты больше не один на один с враждебной природой. Рядом существо твоего вида, и ты испытываешь облегчающее чувство локтя.

Но это лишь в первую секунду. Не успеешь обрадоваться, как тебя с ног до головы обдаёт унижительным страхом. Человек... Не простой, а колымский. Мужчина. Это может быть беглец-уголовник, который зарежет тебя и возьмет в дальнейшую дорогу на мясо. Может быть, это солдат, вохровец, осатанелый от мужских командировок, от таежной глухомани, от однополой жизни. Он бросится диким зверем и изнасилует. Может быть, наконец, шакал-доходяга. Этот ограничится тем, что отнимет хлеб и теплые вещи.

Однако — думай что угодно, а выхода нет. Свернуть с трассы — это значит захлебнуться в снежном океане, сбиться с пути. Назад? Но он догонит... К тому же позади Эльген. Итак, вперед, и, может статься, прямо в пасть волку.

Теперь уже не было ни малейшего сомнения: навстречу мне шел человек. Иногда он кренился набок под ударами метели, иногда резко поворачивался спиной ко мне и к ветру — делал передышку. Ему трудней, чем мне. Мне ветер в спину.

И только совсем уже вблизи, за несколько метров, мне впервые почудилось что-то знакомое в походке одинокого путника. Господи! Да неужели?

Да, это был он! Доктор Вальтер собственной персоной, в бушлате и в бурках. Даже варежки я узнала. Отличные кожаные варежки. Это ему начальник Тимошкин пожаловал с собственной руки.

— Так я и знал! Так и знал! Вот что значит, девочка в свое время не получила немецкого воспитания! Способна на любое сумасбродство!

Он вырывал у меня из рук злосчастный чемодан и одновременно вытирал мне слезы прямо своей роскошной кожаной варежкой. Слезы примерзали к ней на ходу.

— Покажи руки! Ну, конечно, поморожены . . . Стой!

Он поставил чемодан и, набрав в руки снега, принялся отчаянно тереть им мои пальцы. Это было адски больно, и теперь у меня была уважительная причина реветь во весь голос, причитая:

— Неужели трудно понять, что Эльген не то место, где можно оставаться добровольно! Да пусть хоть и на три дня! Подумаешь, плохой погоды испугались!

Это было упоительно сладко: после такого космического одиночества сознавать, что теперь есть кому меня жалеть, бранить, разоблачать мои необдуманные поступки. Да и мне есть на кого кричать и возводить обвинения — одно другого несправедливее.

— Конечно, тебе не к спеху, — повторяла я тоном домашней хозяйки, — я должна сидеть на Эльгене, а ты боишься выйти из барака в неважную погоду . . .

— Погода действительно неважная, — юмористически воскликнул он, и я вдруг как бы впервые увидела его обындевшую фигуру. Против ветра шел . . .

— А ведь это наша первая супружеская сцена! Даже приятно. Запахло устойчивостью домашнего очага. Абер беруиген зи зихь, гнедиге фрау . . .

И тут же, на этом дьявольском ветру, под свист всех стихий он читает шуточные немецкие куплеты, каждый из которых завершается рефреном: «Ихь хабе цу филь ангст фор майне фрау . . .»

И вот мы уже хохочем. Ах, как нам легко стало идти!

— Совсем другое дело, когда ветер в спину! — говорит он.

— Без этого чемодана я чувствую себя просто как на прогулке, — говорю я.

Мы идем рядом. По направлению к свободе. Уходим все дальше от Эльгена. И вдруг я всем своим существом ощущаю острый пароксизм счастья. Не радости, не удовольствия, а именно счастья. Такого безудержного полета души, когда все, даже самые глубинные, тревоги, опасения, страхи покидают тебя и ты несешься, несешься, точно прицепившись к хвосту неведомой Жар-птицы. Наконец-то тебе удалось уцепиться за него! И этот момент остается в памяти на всю твою дальнейшую жизнь.

В моей судьбе, как и в любой другой, были, конечно, радости. Рождение сыновей. Удачи в работе. Увлечения, романы. Чтение.

Но то были именно радости, всегда сдобренные изрядной дозой ожидания предстоящих огорчений. А вот когда я прикидываю, встречалась ли я когда-нибудь с настоящим безумным счастьем, то только и могу вспомнить два коротких эпизода. Один раз это было в Сочи. Совсем беспричинно. Просто мне было двадцать два, и я танцевала вальс на открытой террасе санатория с профессором по диаметру, который был старше меня лет на двадцать пять и в которого весь наш курс был влюблен. А вот вторично мне удалось ухватиться за хвост Жар-птицы именно в тот день, который я сейчас описала. Пятнадцатого февраля 1947 года, на трассе Эльген — Таскан во время бурана.

Мы почти летели, уносимые ветром. Иногда мы останавливались и целовались обледенелыми губами. Мы цепко держались, и она, Жар-птица, преданно несла нас по своему удивительному маршруту.

Рассвет еще не брезжил, и вьюга все еще не унималась, когда мы вошли наконец в покосившийся деревянный барак, где почти всегда находили себе уют ээка, только что вышедшие из лагеря.

— Вот, — сказал Антон, ставя чемодан прямо в сугроб, — вот здесь я снял для тебя комнату. У тети Маруси.

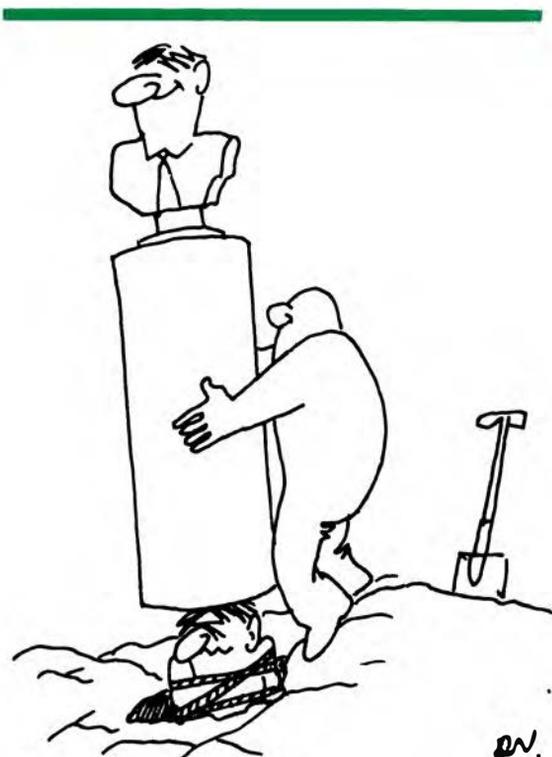
Барак был двухэтажный. Сейчас казалось, что его верхний этаж шатается и того гляди рухнет под напором ветра. Лохматая, ободранная дверь долго сопротивлялась, как живая, не поддаваясь нашим усилиям. Исторический момент моей жизни. Вхожу в первую собственную о л ь н у ю к в а р т и р у. После десяти лет, проведенных в к а з е н н ы х д о м а х.

— Живые? — хрипло осведомляется тетя Маруся, тоже бывшая ээка, отсидевшая десятку за убийство из ревности.

— Ну, кум Део! — торжественно произносит Антон.

Так он говорит всегда перед началом операции, которые ему, терапевту, приходится здесь делать, поскольку он работает в лагерной больнице, что называется, «одной прислугой».

Продолжение следует



Карикатура Романа Витковского



Искони принято у нас печатать переводы без всякого комментария со стороны переводчика, то есть без выражения какого-либо интереса к тому, почему данный поэт взялся переводить другого. Это как бы само собой разумеется. Журнал заказал — переводчик перевел. Мне же кажется интересным отношение переводчика к переводимому автору. Попытаюсь его разъяснить, имея в виду Имантса Зиедониса.

Я узнал его раньше, чем стал переводить. Читал его прозу, несколько раз встречался с ним — в Москве, при поездке в Молдавию, у него дома. То есть у меня уже было некоторое представление о нем как о личности и возник интерес к нему как к поэту. Видимо, часто, особенно если дело касается двух живых поэтов, интерес к поэзии предваряется интересом к личности.

И нет лучшего способа проникновения в суть данного человека, чем разъяснение и собирание его поэтического механизма. В этом я и вижу суть перевода.

Любопытно, что поэзия Зиедониса по ее художественной методике явственно отличается от прозы. В основе прозы у него лежит некое реальное знание жизни, весомости факта и умения видеть мир из гущи народного быта, что выражается в форме метафорики и символики народного мышления.

В поэзии же вкус Зиедониса, если обойтись без пугающего слова «модернизм», тяготеет более к современным формам поэтического изложения.

В 20-е годы существовало групповое образование «конструктивизм», которое провозглашало так называемый локальный принцип, то есть использование средств одного ряда в языке, в метафорике, в евфонии данного произведения. Локальный метод не открытые конструктивизма, в нем только доведено до крайности органическое свойство реалистической поэзии, ярко проявляющееся, в частности, в поэзии Александра Чака.

В поэзии Имантса Зиедониса речь, образы, сравнения взяты из разных рядов, автор часто опускает логические связи между ними. Переводчику приходится иногда додумывать, догадываться, толковать эти связи, как бы заполнять пробелы, существующие в стихе. По мне это главная трудность при переводе стихов Зиедониса на русский язык. Однако в этом свойстве есть момент какой-то увлекательности, есть неперемное сотворчество, а не просто протокольная передача содержания.

На мой взгляд, в поэзии Зиедониса сосуществуют два начала: стихия народного сознания, народного мироощущения и современного способа выражения. Противоборство этих двух начал и создает своеобразие и часто дисгармоничность в духе века.

Для меня же, как для поэта совсем другого толка, «выход» в Зиедониса полезен как «выход» в другую систему. Это порой необходимо поэту для того, чтобы его собственная система не закоисела и не окостенела в своей предельной законченности.

Давид САМОЙЛОВ

ИЗ КНИГИ «РЕ, КĀ»

* * *

Право, чту тебя, ворона.
Не желаешь ты кичиться.
Ведь алмазная корона
в черных перьях не таится.

Ты умеешь жить не ложно
с честью собственной, вороньей.
При тебе и мне быть можно
и вольней и просветленней.

Этим трясогузкам хилым,
этим псевдосоловьишкам,
этим иволгам унылым —
все им мало, все не слишком.

Что за глупая надменность!
Я ж люблюсь неизменно,
как свою обыкновенность
ты несешь обыкновенно.

* * *

Квадратен пес!
Квадратно лает он.
И как он с круглым миром сопряжен!

А может быть, вписались, как лицо,
в желток квадратный месяц и яйцо?

Квадратны зеркало, румяна, ваза
и череп. Явна квадратура глаза.

А звезды! Сколько в них ни ищем внятности,
томимся за углами их квадратности.

Но вдруг мотыга падает из рук.
И выпадает меч, как острый угол.
И воздух округлился. Он округл.
И нет углов. Одно лишь солнце. Круг.

* * *

Утро вечера, мол, мудренее.
Не надейся же — не мудреней!
Коль держаться эдакой идеи,
Будешь ли счастливее при ней?

Совершайте нынче — вот критерий,
Не откладывайте на потом.
Тут и завтра постучится в двери,
Беззаботное войдет к вам в дом.

Перевел
Давид САМОЙЛОВ

Будь сегодняшним без отлагательств!
А вчера и завтра не спасут.
И цветы, на похвальбу не траяться,
Не ссылаясь на грядущий суд.

Вот учу вас, ну а сам-то, сам-то . . .
Вон как пахнет на гряде табак!
Ну а я все жду чего-то завтра,
Дескать, лучше будет и не так.

Пусть на завтра день взойдет над пущей
И прекрасно отгорит закат.
Но момент сегодня был упущен
И напрасно выпущен заряд.

Ах, грядущее! Как соискатель
Или нищий ходит по пятам.
Я — сегодняшнего обитатель —

С добротой улыбаюсь вам.

* * *

Стыжусь, что жизни я не знаю,
Что, как иные, не речист,
Что подлинная речь мужская
Не лезет в мой бумажный лист.

И непонятна мне собака,
И непонятен мне металл.

А дать бы для людского блага
Хоть что-то! Я бы вас спасал

От войн, веществ, от идиотов,
От пьяных страждущих людей.
Но свет мне видится в высотах,
Едва услышу лебедей.

Он сплачивается, пылая.
Родится новый алфавит.
И затихает боль былая —
Жизненепониманья стыд.

* * *

Нас зарежут на заре — слишком рано, мол, запел,
Тепленького, из постели, чтоб остынуть не успел.

На наше солнце, как на бабу в бане, поглядит мужик.
И женщина ощипывать с постели прибежит.

Зачем так много петухов предутренней порой!
Гляди, еще один запел — и голову долой!

* * *

У тебя ледяные глаза.
Значит, будет морозно.
Я срифмую «глаза — бирюза»:
в повечерье темнеется поздно.

Но зачем причитает душа!
Смысла в этом дурачестве нету.
Жизнь! Она как смерть хороша.
Надо мне чеканить монету.

Надо мне чеканить деньгу.
Хватит быть чудаком!
Вот к тебе явлюсь и могу
закупить целиком.

— Эй, хозяин, почем возьмешь,
не за ту, вон за эту?
На которой старинная брошь.
На, бери за принцессу монету.

А, глаза ледяные опять.
Кто бы мог по головке погладить?
Ведь тебе надо цепи ковать,
мне — монеты чеканить.

* * *

Идут с белым флагом капитуляции.
Если хотят, пускай стреляют.
Я так могу, не нужны овации,
Моя гордость мне так позволяет.

Я право же весь могу сдаться,
Я не хочу проливать кровь,
Я годами иду и, может статься,
Буду идти все вновь и вновь.

Вторая и третья смерти мимо,
Ничто не держит меня в пути,
Уже не свистят ни пуля, ни мина —
Дают идти.

Может, больше уже не раздастся
Сигнал атаки с обеих сторон.
Желаю безоговорочно сдаться,
Берите меня в полон!

Скоро уже замирятся два стана,
Победу воспоют в унисон.
Но победителем я не стану,
В списки павших не буду внесен.

Иду с весельем. И к тому же я
Несу свой флаг — и вся недолга.
И некому мне сдавать оружие —
На этой войне нету врага.

* * *

Обе двери открыты.
И вот незамкнутость пола.

Точка с конца предложенья
лезет вперед глагола.

Фраза стала свободна,
делай с ней что угодно,

Оговориться, исправить
и без конца оставить.

Даже укус змеиный
может быть не смертелен.

Кого-то хотели ухлопать,
а тот целехонек-целен.

Коль прет на рожон точка,
нас может прибрать всевышний.

У ягод вон точка в середине,
как например у вишни.

* * *

Только промолвишь «живой»,
а от него — пшик!
Скажешь: «сторожевой»,
а от него — штык.

Просто — названья вещей
это битая карта.
Глянь, а он уж НИЧЕЙ.
О Магдалина, о Марта!

КАМЕНЬ над ямою встал.
Смотрят, дивятся, судачат.
Не говори: «Пропал»!
Слово не много значит.

Ах, да какие там муки!
Как хочешь, так и скажи.
Лучше прохладные руки
мне на лоб положи.

Есть такие слова —
в двадцать четыре слоя.
За воротами — трава,
на ней стариков трое.

Смотрят, молчат, глядят:
слово уже в полроста.
Могут сказать, как и мы;
но промолчат просто.

* * *

Как снега накопятся в долине,
Ты, сестра, останешься одна.
Вслушаешься в поезд журавлиный,
И тогда настанет тишина.

Да и я не пророню ни слова.
Даст Господь, придет и нам зарю.
Тишина накопится, и снова
Я с тобой одной заговорю.

Будет рой букашек пустяковый
Копшиться и лететь на свет.
И огромней эры ледниковой
В тишину сверчок уронит: НЕТ.



КАЯЯК Владимир Карлович (род. в 1930 г.) — латышский прозаик. Среди книг на русском языке: «Следы ведут в прошлое» (1971), «Моя весна» (1976), «Порог» (1979), «Чудо Бригитты» (в сборнике «Латышский Детектив», 1985) и др.

ПАУК

Рассказ

Перевел Владимир БАГИРОВ

Ничто так не возбуждает аппетит, как вкус крови.

Дни становились все короче и короче, по ночам падали звезды, и неслышными шагами подкрадывались холода.

Как-то утром, когда земля была уже белой от инея, из лесу медленно вышел Паук. Притаившись за красным кустом барбариса, он долго наблюдал за пустынным садом, за постройками во дворе и, только убедившись, что никого поблизости нет, быстро направился к ближайшей к нему клетке.

Протиснувшись под клетку, Паук нашел там кучку старого, изгрызенного мышами зерна, ржавое колесо и пыльную бальзамную бутылку. Ощупав пустую посудину, Паук определил, что люди пили из нее по крайней мере сто лет назад: значит, дом очень старый. Ему нравились старые дома, особенно заброшенные и темные чердаки, норы, щели, выемки — там можно было затаиться и дожидаться в полудреме, когда в сетях, хитроумно растянутых по углам и под стрехой, запутается жертва. Самн люди ему не нравились — от них одни неприятности. Нет, их он не любил, так же как люди не любили его.

Из угла клетки донесся шорох. Паук замер. Ни волосок не шелохнулся на

его цепких лапах. Глаза — темные, холодные кристаллы, вулканическое стекло — были обращены в сторону света, и мир отражался в них черным, крохотным и злым. Ничего, совершенно ничего не произошло, только шуршание то ли соломы, то ли мякины стало отчетливей. Паук вздрогнул и медленно двинулся к свету.

У стены клетки на искривленном стебле покачивался созревший подсолнух. На нем сидела сойка и клевала спелые семечки, роняя на землю шелуху.

Птица встрепенулась, перестала лужгать семечки и удивленно вытаращила круглый глаз на странную тварь. Наверное, Паук ей не глянулся. Сойка, выткнув шейку, вскрикнула и улетела в лес.

Во дворе опять стало тихо и пустынно.

Паук вылез из-под клетки. Дневной свет ослепил его, и он на миг замер.

Раздался произительный скрип. Паук припал к заросшей цветочной клумбе и вперил взгляд в сторону звука.

Ветер лениво приотворял двери заброшенного сарая. Ржавые петли пронзительно скрипели, будто жаловались на судьбу всех заброшенных и забытых построек.

Ветер стих, и снова воцарилась тишина. Паук выпрямил свои длинные лапы и пошел к дому.

Окна были заколочены досками. Он взобрался на колодезный сруб — отсюда видней дом и подворье.

Дом выглядел нежилим: высокая некошенная трава, заросшие дорожки... И все же он казался не совсем заброшенным. Покинули его, наверное, недавно — ни поломать, ни содрать с него ничего не успели. Еще цвели астры, и повсюду ощущалось незримое пребывание человека.

Паук заглянул в колодец и залюбовался своим отражением. Он так бы и смотрел на себя, если бы не услышал тихие шаги. Паук оглянулся.

По двору шла женщина с корзиной в руке. У яблони она остановилась, наклонилась, подняла несколько замерзших яблок. Надкусила одно, поморщилась, взглянула на заколоченные окна и двери и поежилась. Ей, видно, вдруг стало не по себе, она заспешила. И вот уже — вошла в лес.

Паук, серым булыжником застывший на краю колодца, разглядывал незнакомку. Она затерялась среди деревьев, и он спрыгнул с колодезного сруба. Он собирался как следует осмотреть дом.

По приставной лестнице он вскарабкался на сеновал. Здесь лежали остатки сена. И, очевидно, летом спали люди. Но спрятаться негде... Паук отыскал щель и протиснулся в нее. Внизу был хлев. Сквозь небольшое зарешеченное окошко слабо сочился свет. Тут еще сохранились старые кормушки с перегородками. На толстых балках под потолком чернели пустые ласточкины гнезда. Тут было где спрятаться, затаиться. Но Паука насторожили каменные стены — слишком холодные, влажные, враждебные.

Осенью лесная живность затихла, замерла, забилась в норы и берлоги, перебралась в теплые края пережидать холода. И Паук тоже чувствовал уже недолгую тягу к теплу: он страшился надвигающейся зимы, морозов и метелей. И вот — рано утром вышел из лесной глуши подыскать себе убежище. Нет, хлев ему не нравился... Взобравшись на старые перегородки, он по одному из столбов добрался до щели в потолке и выбрался на крышу.

Спустившись, Паук остановился. Лучшее всего ему было бы поселиться в доме, но пугало недавнее присутствие

людей. Паук обошел дом, заглядывая в щели, забрался наверх, осмотрел косяки и наличники, но подходящего лаза не нашел. Тогда он засеменял к стоящему на отшибе сараю. В нем валялись ржавые инструменты. Еще — стояла скособоченная рессорная коляска. Хорошо было бы устроиться под кожаным ее навесом. Но к коляске в любой момент могут подойти и в ней оставаться опасно.

Паук все еще сидел в коляске, когда над его головой кто-то задвигался. Полуслепая сова медленно вращала над ним во сне своей головой. Жить с ней под одной крышей Паук не собирался — ведь сам он не умел ни ухать по-совиному, ни летать.

Паук спрыгнул с коляски и вышел из сарая. Обойдя его, добежал до березовой рощи и за деревьями увидел еще одну постройку. Он обошел ее. Это была баня и стояла она запертой. Паук сквозь узкое, низкое окошко заглянул внутрь. Внутри было темно, и только взглядевшись пристальной, можно было различить черный дощатый пол и полок у противоположной стены.

Дверца чердака была приоткрыта. Царапая когтями бревна, Паук забрался по стене наверх. Туда, где когда-то сушили ячмень для солода, коптили мясо и хранили березовые веники. Пахло жизнью, и закопченный дымоход словно излучал нежное тепло.

Он наткнулся на оторванную доску и спустился в баню. В стене над печкой зияла ниша, которая сразу приглянулась ему. Забравшись туда, Паук повернул голову в сторону низкого окошка и застыл. Сквозь закопченное окно пробивались лучи солнца. Снаружи медленно покачивалась на ветру схваченная морозом полынь. Еле слышно доносился шелест елей.

Паук задремал. Когда он очнулся, за окошком пылал закат. Ели стихли, и весь мир погрузился в тишину. Паук смотрел и смотрел в закопченное окно. Солнце уже зашло, стемнело, а он так и не шелохнулся. Так просидел он до поздней ночи, не вздрогнул даже, услышав громкий крик совы и крадущиеся шаги неведомого ему лесного зверя. Он, видно, ощущал себя в полной безопасности, развежился и перестал обращать внимание на все, что происходит снаружи. Паук погрузился в долгий, безмятежный сон, чтобы проснуться весной бодрым и обновленным.

Шли дни и ночи; пасмурная погода сменялась ясной и звонкой, спокойная, тихая — шумной, ветреной. Под ветром бревенчатые стены старой бани скрипели, и через все щели проникало холодное дыхание близящейся зимы. Паук не заметил, как она наступила. Он и в самом деле уснул. Глубоким сном...

Проснувшись как-то, заметил, что снега намело до самого подоконника. Увидел, что на стебле занесенного снегом чернобильника, поклевывая семенами, сидит синичка. Птица внезапно вспорхнула, и послышался хруст снега. Кто это? Паук вздрогнул и снова оцепенел. Жизнь едва теплилась в его глазах, он был похож на голыш, положенный в нишу над старой печью.

Мимо пронеслись на лыжах дети, скрип снега отдалился и затих совсем.

На этот раз тишина длилась долго, никто не проходил мимо старой бани. Только уже к весне прилетел дятел и, словно проверяя прочность закопченных бревен, принимался их долбить.

Еще — к бане подошел голодный кабан, ткнул клыками порог, но тот держался крепко, и могучий лесной зверь грузно потопал дальше.

Потом Пауку показалось, что солнце в небе поднялось выше обычного — тень от подоконника на полу явно укоротилась. Но до поры, когда все вокруг распустится, расцветет и оживет, было еще очень долго. И Паук дремал, и выдержка его была безграничной, как черная вечность, породившая его. Сквозь дремоту он ощущал — туча заслонила солнце, ветер шуршит о гребень крыши, гудит ближний лес, и время неудержимо клонится к весне.

Как-то, очнувшись, Паук увидел — уже тают сосульки, снежный сугроб за окном осел, и над землей носится теплый буйный ветер, разгоняющий пелену мрачных туч. Вспыхнуло солнце, и серый твердый комок над зандевшей печью встретился. В нем опять пробуждалась притаившаяся жизнь; пробуждалась медленно и трудно, но огонь в черных глазах полыхал все ярче. Редкие, гладкие шерстинки на темном теле зашевелились, встали дыбом, дрожь пробежала по затекшему за зиму телу, эластичная кожа ожила, и завибрировал подшеек. Клубок еще не двигался, но пульсировал, дышал — в нем копилась сила, которые вскоре приведут в трепет слабых. А пока он лежал — беспомощный, оцепе-

невший и... безобидный. Он вслушивался в шаги весны за окном и возрождался одновременно со всем живым.

Настал день, и Паук шевельнул лапой, поскреб когтями стену и вновь ощутил в себе силу. Размявшись, он выполз из ниши, спустился с полка, пошел и сразу почувствовал голод — за зимние месяцы он исхудал так, что кожа складками свисала с брюха.

Он вскарбалился на чердак и принял-ся подыскивать место для первых весенних сетей. Его остановил сквозняк — вряд ли и сама добыча сунется сюда, наверх.

Через щель в дранке Паук выполз на крышу. С северной стороны она заросла зеленым мхом, с южной — покорибилась. Теперь, на солнце, крыша понемногу подсыхала и чуть слышно потрескивала.

Трубу бани когда-то прочищали — к ней вела лестница. Паук полез по ней и добрался до гребня крыши. Захмелев от весеннего ветра и солнца, замер и огляделся.

Дом, который он присмотрел осенью, все еще стоял заколоченным. Похоже, никто даже мимо не проходил. И дверь сарая все так же поскрипывала на ветру. Только подсолнух у клетки за зиму сломался.

Осмотревшись, Паук спустился к карнизу крыши, зацепил за стропила свою паутину и соскользнул вниз. Он шел в близлежащий лес, и прошлогодняя трава шелестела под его лапами.

Взобравшись на старый пенек на лесной полянке, Паук пристально оглядел верхушки деревьев и окружающие поляны кусты. Ждал — не появится ли какая-нибудь живность. Ждал, чтобы напасть и убить...

Солнечные лучи щекотали спину, припекали затылок. Свежий воздух пьянил и убаюкивал. Но Паук переборол дремоту: теплые дуновения весеннего ветра бодрили его, придавали силы. Брюхо его судорожно дернулось, как бы прилипло к спине и вновь провисло. Уцепившись своими сильными волосатыми лапами, он, как никчемный большой трутовик, прирос к старому пню и, выжидая, жадно поглядывал по сторонам.

Невдалеке, среди молодых елочек, зашевелился бурый прошлогодний папоротник. Искра голода вспыхнула в темных паучьих глазах. Он с трудом превозмог голодную дрожь, увидев зайчонка, который бесечно резвился

в папоротнике. План созрел мгновенно: натянуть там свою ловчую сеть, и зайчик детеныш непременно в ней запутается. Но для этого Паук был еще слаб. А голод утолить надо тут же, только потом можно плести сети, мастерить ловушки. В них угодит не только зайчонок, добыча покрупнее. Сейчас в самый раз живность помельче, попроще. Паук огляделся вокруг.

На ближайшую ель сел клест. Улетел. И... снова прилетел. Значит, где-то там гнездо и птенцы? Конечно!

Клест вновь улетел. Паук поровно спрыгнул с пня, заспешил к ели.

Зацепившись за ствол когтями, Паук стал карабкаться наверх. Поначалу лапы скользили, срывались — мышцы за время зимней спячки стали не те. Но он был упорным и хватким. Он карабкался по стволу ели. По мелким сухим веточкам, сучкам, застывшим каплям смолы — как по ступенькам. Он поднимался все выше и выше.

Добравшись до первых толстых веток, Паук остановился передохнуть. Сидел он долго — ему надо было отдышаться. Потом полез дальше. Бесшумно, ловко, хищно. Казалось, он ничего вокруг себя не замечает. Но это было не так. Как только в воздухе затрепетали крылья пестрого клеста, Паук снова окаменел и стал похож на трутовик. Несмысленная птица не испугалась его.

Клест покормил птенцов и упорхнул. Паук влез повыше и заглянул в гнездо. В нем сидели четыре уже оперившихся птенца — клесты высиживают птенцов очень рано и к началу таяния снегов малыши уже заметно подрастают. Сейчас они, изумленно попискивая, с любопытством разглядывали незнакомую тварь. Часто мы тоже так вот наивно взираем на злую судьбу, привыкнув вкушать в этой жизни только доброе и приятное, а достойно встретиться с опасностью один на один — не готовы.

Паук припал грудью к краю гнезда, и оно накренилось. Птенцы встrepенулись, с ужасом глянули в черные, гипнотические глаза и задрожали. Вскоре под тяжестью паучьего взгляда птенцы затихли. С открытыми от страха клювами покорно ждали они смерти. Паук привстал и схватил ближнего к нему детеныша. Ядовитые железы, выпустив свою долго копившуюся смертоносную жидкость, парализовали жертву. Птенец почувствовал лишь неясную ублаживающую вялость. Паук, казалось, высасывал из него саму Жизнь.

Когда от жертвы остался лишь невесомый комок перьев, Паук сбросил его на землю. Затем он жадно схватил следующего птенца — тот, видя гибель своего брата, даже и не пытался прятаться. Та же участь постигла и всех остальных.

Когда гнездо опустело, Паук присел на ветку повыше, замер и стал ждать. Его хищные челюсти-крючья с каплями яда были готовы хватать и душить.

В воздухе легко затрепетали крылья. Паук напрягся и затаил дыхание. Но в этот раз удача ему изменила. Клест, наверно, сообразил, что нарост, вдруг выросший над пустым гнездом, таит в себе опасность. Птица стала разглядывать его, и вдруг на нее взглянули черные, леденящие душу, глаза — и странная вялость сковала крылья. Клест почти впорхнул в раскрытые челюсти — лишь в последний миг ему удалось метнуться вниз, нырнуть под разоренное гнездо. Над его головой мгновенно сомкнулась пара тренированных челюстей. Но на этот раз Паук опоздал, и его парализующий все живое яд вытек на землю. Неудача эта Паука разъярила. Он подпрыгнул и попытался схватить клеста. Но тот, уже оправившись от шока, громко кричал и смело кружил над паучьей головой.

Паук не летал и птицу в небе, конечно же, поймать не мог. От страха он спешно выдавил из себя клейкое вещество, которое, тут же превратившись в крепкую нить, помогло ему удержаться и не упасть. Не сделай он этого — лежать бы ему на земле. И кто знает, может даже мертвому. Едва сдерживая ярость, Паук стал спускаться по стволу ели вниз.

На земле он решил отдохнуть и заспешил на опушку к старому пню. Солнце щекотало спину и грело затылок; хотелось спать, но Паук не спал. Теплый, весенний ветер успокаивал, бодрил, придавал силы. Так он и сидел, не двигаясь, полный темных замыслов — противополоственная тварь, враждебная всему живому.

Много лет назад он стал вытягиваться в длину и раздаваться в ширину. Аппетит его невообразимо возрос: голодный и кровожадный, он сожрал даже собственных братьев, не говоря уже о более слабых существах. Ему не было равных в мире, и поэтому он был одинок, никем не любим и все от него бежали и обходили стороной.

Паук лежал не шелохнувшись и зорко следил за тем, что происходило в ельнике. И точно, вскоре там опять появился зайчонок. Он беспечно грыз стебли прошлогодней травы. Пушистый комок сам, заигравшись, приблизился к пню, на котором затаился Паук. Малыш не замечал Паука. Но Паук не шелохнулся даже тогда, когда эта, по его мнению, пуховая безделушка подошла совсем близко. Он вспомнил клеста и сдержал себя. Чувство голода было так невыносимо, а его утоление было так вожделенно, что ошибиться было нельзя.

Дождавшись, пока зайчонок ушел на край поля, Паук сполз с пня и направился к молодым деревцам. Осмотрев елочки, под которыми спал малыш, он принялся плести основательную круглую сеть. Его умение и терпение в изготовлении орудия смерти были феноменальны. Все живое, попавшее в эти ловушки, безнадежно запутается и уже никогда не вырвется на волю.

Выткнув поперечные нити и закрепив их на стволах, ветвях и корнях, Паук начал плести паутину. Он работал ловко, быстро и бесшумно; железы щедро выделяли крейкое вещество, и ловушка получалась легкая и невинная на вид, как игрушка. О том, что выпутаться из этой ловушки невозможно, что в ней погибают самой страшной смертью, могли рассказать только жертвы. Но мертвые, как известно, молчат. И только их внезапное исчезновение свидетельствует о том, что в мире происходит что-то непонятное и ужасное.

Когда сеть была готова, Паук засеменил в баню. Он решил отдохнуть — сегодня он славно поработал, подышал свежим лесным воздухом и захмелел от весенних ароматов, разнородных по всему свету теплым ветром.

Ночью Паук проснулся, вслушался в завывание ветра и шум елей. Запах копченого мяса, устоявшийся в старой бане, невыносимо возбуждал аппетит. Обвисшее брюхо судорожно вздрагивало. С тех пор как Паук пожрал своих братьев, голод никогда не оставлял его. Даже наевшись до отвала, он чувствовал, что мог бы еще глотать, пить живительные соки, терзать жертву челюстями — лишь бы ощущать вкус крови, слышать хруст ломающихся костей. Вчерашние птенцы лишь раззадорили его аппетит, а чувство голода за ночь обострилось, стало мучительным. И вот челюсти его свело; холодно, как

черные камни, засверкали в темноте глаза... Уснуть Паук так и не смог, с нетерпением дождался он утра.

Еще не взошло солнце и не растаяли ночные тени, как Паук выполз наружу. И застыл в прошлогодней траве — неподвижный, черный и тяжелый, как частица уходящей ночи. Стоял и смотрел, нет ли поблизости какой-либо живности. Но было еще рано, природа спала, только в березовой роще и в лесу на голых ветвях берез и осин щебетали пробуждающиеся птицы. Паук встрепнулся и, резво переставляя свои длинные и мощные, поросшие рыжей шерстью лапы, зашагал в сторону молодого ельника.

Уже издали он заметил, что в сетях кто-то барахтается. Это был наивный зайчонок, так весело, так дурашливо скакавший вчера на полянке.

Паук приблизился к жертве. Зайчонок под взглядом черных, жалающих глаз сник, замер — он покорно дождался своей участи. Паук прибавил шага, разбежался, высоко подпрыгнул и, раздвинув челюсти-крючья, упал на жертву. Четыре пары лап, стиснув несчастного, сжимали его все сильнее и сильнее. Беспощадной хваткой впившись в горло жертвы, он пил и пил кровь из глубоких ран.

Когда в конце концов Паук отбросил пустую растерзанную шкурку, он сделался еще больше, злее, ненасытнее.

Неторопливо и тщательно связал он порванные нити сослужившей ему такую добрую службу паутины. Затянул потуже узлы и залюбовался. Сеть среди молоденьких елочек очень кстати: глядишь, и попадет еще какая-нибудь неосторожная живность.

Устало и медленно побрел он с отяжелевшим брюхом в сторону бани, чтобы отдохнуть и переварить пищу.

Дремал Паук на привычном месте. А услышав далекие голоса, не соображал, сколько времени прошло. Приблизжались человеческие шаги. Дверь бани распахнулась, и поток света ворвался внутрь. Он резко ударил в глаза и ослепил. Паук съжился и затаил дыхание. Если бы кто и заметил его, то принял бы за прокопченный камень на старой печке.

Но люди не заметили его. Баня была темной, а они только заглянули в дверь и понюхали воздух. Баня, видно, им понравилась — достаточно закопченная и таинственная, именно такая, какой

и должна быть старая деревенская баня. Дверь снова захлопнулась, шаги людей затихли, и наступила тишина. Но внезапное появление людей обеспокоило Паука. Он выполз из ниши и вылез на крышу. По нагретой солнцем потрескавшейся дранке забрался на конек бани и взглянул на заброшенный дом. Дверь была открыта. Внутри и снаружи суетились по-весеннему одетые женщины. Мужчины отдирали доски с заколоченных окон. На заброшенный хутор вернулись люди. Паука это встревожило — они были слишком близко. Оставят ли его в покое? Не прибавится ли у него хлопот из-за этих крупных двуногих тварей? . . . Паук неподвижно сидел на коньке и наблюдал за людьми. Во дворе дома стояла автомашина. Из нее что-то выгружали и вносили в дом. Но в баню никто больше не входил, и Паук успокоился.

Под вечер он сбегал в лес проверить, не попался ли кто-нибудь в расставленные сети. Но они были пусты. Паук разыскал еще несколько узких прогалин между густыми елочками, тропки и дорожки, по которым ходит-бродит всякая лесная живность. Везде он сплел и натянул свою паутину, сделав это тщательно, без спешки. И . . . снова голод вдруг мучительно сотряс все его тело. Обвисшее брюхо болталось как полупустой мешок. Брюхо требовало пищи. А ему не везло, до сумерек он так ничего и не добыл, а с наступлением сумерек ему пришлось вернуться в баню.

Взошла луна и глянула сквозь облака вниз, освещая все неживым белесым светом. Паук снова забрался на крышу бани и все смотрел и смотрел на старый дом. Люди еще не угомонились, ходили туда-сюда, с шумом хлопали дверями. Из окон пробивались яркие полоски света.

Свет особенно беспокоил Паука.

С крыши он видел людей. Они жили другой, неизвестной ему жизнью. Эта чуждая жизнь его и пугала и притягивала.

Паук слез с крыши и направился к дому. Подкравшись к нему, по бревенчатой стене долез до подоконника и заглянул внутрь. И хотя впервые в жизни видел, как люди сидят за широким деревянным столом, понял — они едят. Это неторопливое и спокойное их застолье вызвало у Паука приступ аппетита. Прижавшись к стеклу, он тянулся к еде; брюхо его судорожно

сокращалось, и липкая слюна стекала по оконной раме на подоконник.

Вдруг молодая женщина, сидевшая напротив окна, подняла голову и вскрикнула. Паук, поняв, что замечен, вмиг прыгнул на землю. Женщина о чем-то взволнованно говорила, но никто ее не слушал. Звенел смех, звякала посуда.

Паук затаился под кустом старой сирени и из этого убежища стал наблюдать, что произойдет. В кухне осталась только молодая женщина — та самая, заметившая Паука. Она убрала посуду со стола, вымыла ее, затем погасила свет и исчезла в темноте. Вскоре свет вновь зажегся, но в другом окне, и Паук снова ее увидел. Она подошла к окну и задернула занавески. Теперь ничего не было видно, и оставалось только гадать, что там происходит. Женщина, очевидно, наводила порядок в комнате, перекладывала что-то с места на место. Какое-то еще время люди входили и выходили, громко переговариваясь, звучала музыка. Но понемногу все стихло, шаги смолкли, люди готовились ко сну.

Паук медленно подошел к дому. Луна спряталась за облако, и над головой светились лишь большие, мягкие звезды. Благоухала расцветающая весенняя ночь.

Тихо крадучись, обходил Паук дом. Время от времени он останавливался и прислушивался — дом казался большим, темным и таинственным, а жизнь внутри него притягивала, волновала, возбуждала любопытство. Он подкрался к единственному освещенному окну и осторожно взобрался на подоконник. Но что происходит внутри, было не разглядеть — занавеска слишком плотная. Слышно только, что внутри кто-то мягко ходит, что-то переставляя и передвигая. Паук бесшумно забрался повыше. Над занавеской была широкая щель, через которую можно было заглянуть внутрь.

Та самая молодая женщина вынимала из большой сумки белье и одежду, складывала в шкаф, наводила порядок на полках. Потом она застелила кровать и стала готовиться ко сну. Она медленно разделась; оставшись в одном белье, подошла к зеркалу и намазала чем-то лицо и шею. Паук видел все это впервые в жизни. Хищник смотрел на женскую шею, плечи, грудь, и непонятные чувства одолевали его. Он при-

жимался к оконному стеклу все плотнее, уже не ощущая его холодка.

Закончив вечерний туалет, женщина сняла белье и, перед тем как надеть ночную рубашку, с минуту стояла обнаженная. Так много белого и сладкого тела Паук никогда еще не видел. От страсти он затрясся, челюсти задергались, ядовитые железы набухли, а сам он как бы разбух, стал больше, плотнее, безжалостней. Он жаждал прикоснуться к этому телу, ощутить пульсирующую жизнь челюстями и лапами, припасть к ней и высосать всю до конца.

Затем огонь в комнате погас. Паук долго еще висел перед окном, но рассмотреть что происходит внутри, не мог. Наконец напряжение прошло, к нему вернулась способность двигаться, и он не торопясь, осторожно спустился вниз.

Вернувшись в баню, Паук залез в свое логово, но было не до сна. Перед глазами все время маячила обнаженная женщина. Он снова и снова видел белую кожу и мягкий живот, круглую грудь и стройные бедра.

И в последующие дни Паук не мог найти себе места — куда бы он ни шел, все время думал о женщине. И во сне, и в полудреме, и наяву.

В конце концов Паук понял — он ищет возможности встретиться с женщиной. Он стал бродить вокруг дома, наблюдать и часами ждать, не отрывая глаз от дверей.

Женщину он увидел, когда она, ярко освещенная солнцем, вышла на крыльцо. Паук сидел, спрятавшись за куст жасмина. Куст был мокрым от росы и слегка подмерзшим от утренних заморозков. Женщина прошла в сад, где расцвели первые белые нарциссы, и нагнулась. Паук увидел ее белые ноги. Сладкая дрожь пробежала по его телу. Но женщина, сорвав несколько цветков, поспешила обратно в дом.

Паук еще долго сидел под кустом и ждал, но женщина не приходила. Едва он выполз из-под куста, как из дому выбежал пес — черный терьер — и заметил его. Пес начал зло лаять и насканивать на Паука, и он заспешил обратно в лес. Собаки он не боялся. Эту шумную, суетливую шавку отогнал бы за просто, но боялся привлечь к себе внимание людей.

Пес оказался настырным, он не отставал даже тогда, когда Паук забрался в чащу — куда ни спрячешься, прыгает вокруг и громко лает.

Пес стал для него сущим наказанием: как только Паук тайком днем или вечером приближался к дому, пес замечал его и поднимал такой шум, что приходилось спешно уносить ноги. Да и ночью было не лучше. Пес как-то учуял Паука, едва тот подкрался к дому. Залаял, проснувшись люди. Какой-то мужчина вышел во двор. Встретаться с ним Пауку не хотелось. Перед его взором витало белое тело, к которому он жаждал припасть, жаждал ощутить его тепло и биение крови. Но между ним и женщиной стоял пес, и эта визгливая тварь с таким острым нюхом повсюду оберегала покой и защищала свою хозяйку.

Между тем женщина повадилась ходить в лесок, на полянку, и там греться на солнце. Но и здесь собака не давала полюбоваться вожделенным женским телом. Снова и снова поднимала шум.

Как-то раз женщина села, прикрыв обнаженную грудь. Паук юркнул в заросли. Пес — за ним. Женщина же, подзадоривая пса, громко смеялась. Паука обуяла дикая ярость. От злости он весь дрожал. Его бесило, что его прогнали, что женщина так вызывающе над ним смеется. Но смеется тот, кто смеется последним. Паук понял, что уже не отступит: женщина будет принадлежать ему. Чтобы этого достичь, надо сначала убрать пса.

Паук стал вынашивать план мести — он не привык сдаваться, а от этого ненависть к собаке все росла. Часами он сидел на крыше бани, наблюдая за домом и людьми. Скоро он уже знал характеры и привычки всех людей, знал, когда кто уходит, когда возвращается. Но молодая женщина редко уходила далеко от дома. Чаще всего она работала в саду или у дома. Иногда она спускалась к реке, где бродила по мелководью, шла на полянку загорать, и всегда ее сопровождал пес. Всякий раз он чуял Паука на расстоянии и принимался лаять.

Вскоре пес так осмелел, что гонял Паука до самых дальних уголков леса. Вот тогда Паук в зарослях малинника и мелкого кустарника принялся плести большую крепкую сеть. Растянул он ее так хитро, что нити были не видны. В узком проходе Паук сплел потайные петли, которые затягивались от прикосновения. Если жертва начнет метаться, — а это непременно произойдет, — то на нее упадет сетка, цепкая, липкая, не оставляющая никаких надежд.

Когда ловушка была сплетена, осталось только заманить в нее собаку. Паук направился к дому. На этот раз он не таился: чем скорее обнаружит его пес, тем лучше. Но как часто случается, именно сегодня пес как сквозь землю провалился. Паук обшарил двор, обошел вокруг дома, но своего врага так и не нашел.

Заглянув в полуоткрытую дверь, прислушался. Внутри было тихо. Он заглянул в кухню — пусто. Дальше здесь была еще одна дверь. Паук пробежал по глинобитному полу кухни и заглянул в комнату. На стуле сидела женщина. Она была в легком летнем платье, красивая, молодая, загорелая. Паук как бы ощутил дурмящий аромат ее тела. У ног женщины дремал пес. Сейчас он был не опасен. Паук медленно пошел на сближение. На мгновение женщину заслонил стул. Осмелев, Паук вскарабкался на стул и, подпрыгнув, очутился на столе прямо рядом с женщиной. Она вздрогнула и оцепенела. Это окрылило Паука. От восторга он стал пританцовывать перед своей избранницей. Вначале — медленно, плавно, стараясь не спугнуть женщину. Она должна привыкнуть к своему новому поклоннику, увлечься нарастающим темпом танца, ловким поворотом и быстрыми приседаниями. Паук видел, что женщина лишь удивлена и не собирается уходить. Он начал медленно приближаться к ней. Плавные, но стремительные движения все сильнее завораживали женщину, но она никак не могла понять смысл этого представления. Паук, танцуя, все ближе и ближе подходил к женщине, все любуясь ее гладкой, нежной кожей. Он пьянел, ощущая ее запах и близость. Изгиб шеи и глубокий вырез мантии все сильнее. Пауку казалось, что он осязает эту кожу, ощущает биение пульса на шее, плечах женщины. Но когда он был уже совсем близко, она испугалась и тихо вскрикнула. Пес сразу же проснулся. Он залаял и запрыгал вокруг. Опьянение спало. Паук разъярился и едва удержался, чтобы не прыгнуть на загривок этой шавке и с наслаждением задушить. Но женщина все кричала, а собака лаяла громче и громче. Паук понял, что спешить нельзя. Можно спугнуть женщину. Он ловко спрыгнул со стола и бросился к дверям. По глинобитному полу скрипнули собачьи когти. Паук ощутил горячее дыхание погони.

На крыльце Паук спрятался за косяк и осмотрелся. Как только показалась собачья голова, он лапой саданул пса между глаз. Пес был явным трусом — лай перешел в отчаянный вой, и враг убежал как ошпаренный.

Паук был уже на полдороге к лесу, когда на крыльце появилась женщина. Она громко смеялась и бранила собаку. Хозяйка была весела, и собака, удивившись минутной трусости, опять погналась за Пауком, но близко уже не подходила.

Паук стремительно убежал. Казалось, что он подавлен и беспомощен. Расстояние между ним и псом все уменьшалось, и Паук, якобы в поисках спасения, спешил к спасительным зарослям.

Пес, конечно же, ничего не подозревал и, осмелев, начал наступать на Паука. Беглец казался ему усталым и загнанным. Где-то около дома еще слышен был громкий голос женщины, и пес спешил выслужиться. Он даже не понял, как и когда его связали. Его обвили липкие сети; петли, стягиваясь все туже, душили и сдавливали. Пес громко завывал. И тут перед ним возник Паук. Яд был впрыснут мгновенно. Лай и вопли затихли. Собака лишь тихо скулила и дрожала всем телом.

Так медленно Паук никогда еще не подходил к своей жертве. Он садистски наслаждался каждым взвизгом, каждой конвульсией жалкого тела, каждым вздохом. Чувства жалости он не знал. Неторопливо взобрался он на дрожащий ком шерсти, цепко обнял и прижался медленно душить. Но думал он о женщине, о ее белой коже, ароматном теле, которое вот так же он крепко обнимет. Его снедало одно желание, одна страсть, и только этому была подчинена его нынешняя жизнь.

Пес перестал скулить. Лишь все реже вздрагивало его тело, слабее билось сердце. Агония была долгой и противной. Пес не хотел умирать. Это опять разозлило Паука, и он еще крепче стиснул дрожащее полумертвое тело. Конвульсии перемежались долгими паузами. Паук понял, что скоро наступит конец. Но не стал ждать. Нашупав сонную артерию, с хрустом прокусил ее. Пес лишь слабо вздрогнул, а Паук все сосал и сосал его кровь.

Так прошло несколько часов. Ничемный мешок из шерсти с костями Паук сунул под куст и засыпал песком и травой. Потом он вернулся и поправил паутину. Паук работал долго, не-

торопливо — на совесть. Капкан должен быть надежным: а вдруг туда попадет нечто белое и красивое.

Паук устало пополз в баню. Он стал большим, тяжелым и неповоротливым. Но он не забыл главного — своей цели. Он стал крупнее и сильнее, значит, уже больше подходил своей избраннице — той самой, которая его — большого и красивого — возможно, в конце концов и полюбит.

Паук улегся на привычное место, его сильно мучило. Но даже отраву исторгнуть из чрева он был не способен. Этим он отличался от всех других живых существ.

Так пролежал он всю оставшуюся часть дня и всю ночь. К утру тошнота прошла, и он опять вспомнил женщину.

В последующие дни он не находил себе места — куда бы ни шел, всюду перед глазами вставал ее образ. И он как заговоренный поминутно искал возможности с ней встретиться. Проверил натянутые в кустах, в лесу и на поляне сети, он желал увидеть в них женщину, и сладострастная дрожь содрогала его уродливое, волосатое тело. Это порой его пугало — он понимал, что даже в случае самой большой удаче такое счастье вряд ли подвалит. И все же уйти и отказаться от женщины он не мог. Страсть и вожделение изматывали его, утомляли и мучили. Охота на птиц, зайцев и косуль уже не приносила ни удовлетворения, как раньше, ни радости.

Паук часто сидел на крыше бани, наблюдая за садом и садом, но дни были прохладные и пасмурные, и женщина почти не показывалась.

Однажды он опять попытался проникнуть в дом, но в кухне его заметил мужчина — схватил топор, и Паук едва успел удрать. Нет, в дом заходить нельзя. Надо ждать здесь, в бане. Погода, глядишь, улучшится, и женщина сама выйдет из дома.

Наконец тучи рассеялись, и небо прояснилось, но молодая женщина гуляла теперь только в обществе других людей и в лес не ходила. Паук неподвижно сидел на крыше и терпеливо ждал. Он знал: умение выждать — почти победа.

Стояло жаркое солнечное утро, когда женщина снова пришла на лесную полянку. Но, к несчастью, с ней была и старуха, тоже живущая в доме. Они раскинули простыню и разделись.

Паук быстро слез с крыши и поспешил на поляну. Забыв про осторожность, он побежал по прямой дороге, не глядя по сторонам. Обнаженное тело женщины манило его. Едва сдерживая дрожь, он влез на старый пенек, прикинулся неживым круглым наростом и застывшим взглядом уставился на женщин. Но то, что он увидел, поразило его. Как были разны тела старой и молодой женщин. Тело одной было свежим и соблазнительным, другой — изношенным, увядшим, никчемным. Паук попытался смотреть только на молодое, но старое мешало. Он возненавидел его и уже готов был убить, но не хотел рисковать. Он боялся спугнуть молодое тело, завладеть которым он вожделел. Поэтому приходилось терпеливо ждать, пока не подвернется другой, более подходящий случай. И все же страсть съедала его. Он медленно сполз с пня и как мог тихо приблизился к женщинам: те, закрыв глаза, лежали под пальцами лучами солнца. Он крался осторожно, не дыша, следил за тем, чтобы не наступить лапой на сухую ветку валежника и не испугать женщин.

Он подкрался уже совсем близко, но вдруг старуха решила перевернуться на живот. Но прежде она подозрительно огляделась: а вдруг кто-то наблюдает за ними, — известно же, что нет никого стыдливее старух. И тут она увидела Паука. Такого вопля ужаса этот лес никогда не слышал. Старуха вскочила, прикрывшись одеждой. Молодую женщину это очень рассмешило, и она захохотала неудержимо и весело.

Паук остановился, присел, опять встал и начал танцевать. Он знал — танец заворочит женщину, уснит, очарует. Надо лишь целиком завладеть ее вниманием. Возможно, это и удалось бы, если бы не старуха.

Молодая женщина смотрела на танцующего Паука. Старуха же схватила камень и швырнула. Камень упал в полуметре от Паука. Многоногая тварь замерла и своим неподвижным взглядом впилась в старуху. Та завопила и, схватив толстую ветку, вскочила на ноги. Паук понял, что настала пора отступить. Но было ясно, что молодую женщину он не испугал — надо теперь набраться терпения и ждать встречи в ней наедине.

Паук, смешно изогнувшись, отскочил. Старуха кинула в него веткой, но не попала. Впрочем — было уже поздно:

Паук, неуклюже петляя, скрылся в лесу. Ему вслед звенел громкий смех молодой женщины. Добежав до кустарника, Паук оглянулся: женщины, одевшись, направлялись к дому.

В один из дней, когда Паук лежал в бане на своем обычном месте, он слышал приближающиеся шаги и голоса. Вошел мужчина и обе женщины. Паук посмотрел на шею молодой женщины, и ему опять показалось, что он видит, как пульсирует кровь под белой кожей. Оторвать взгляд черных глаз от женщины он уже не мог.

Люди осмотрели баню и решили, что она достаточно хороша. В предбанник, где находился очаг с большим котлом, они нанесли воды и разожгли огонь.

Тяги почти не было. Баня наполнилась густым удушающим дымом, и Паук вылез на чердак. Но ветра не было, дым скапливался и там. Паук, оставив баню, бросился в лес. Он проверил сети и ловушки, полакомился попавшимися в них птицами, а потом залег в чащу отдыхать.

Вечером, когда солнце уже исчезло за деревьями и лишь на западе небо еще полыхало, Паук вернулся обратно. Уже издали он услышал человеческие голоса и в банном окне заметил слабый свет.

Дрожь нетерпения трясла Паука, когда он забирался в баню. Но, наверно, он все же опоздал. Стукнула дверь, через щель в потолке вверх дохнуло теплым воздухом, и кто-то вышел в предбанник. Паук залез в щель и заглянул в полуосвещенное помещение. Сквозь пар проглядывало белое женское тело. Женщина, склонившись над ушатом, полоскала волосы. Она чувствовала себя свободно — как может чувствовать себя человек, уверенный, что никто за ним не наблюдает.

Паук тихо пролез внутрь. В таком пекле он еще не бывал. Но здесь была женщина, а это определяло все. Страхась горячей печки, он, торопливо стуча когтями, дополз по потолку до женщины. Так близко от нее он никогда еще не был. В темном окошке горела

свеча, и уродливая тень скользила по противоположной стене, повторяя движения Паука. Он спешил: женщина могла уйти в любой момент. Когда она подняла голову, Паук спустился с потолка и повис перед ней. Женщина вскрикнула. Дверь тут же отворилась, и вошла старуха. Она схватила кочергу, но Паук прыснул ей в лицо своим ядом, и старуха с воплем ретировалась. Он снова повернулся к молодой женщине, и четыре пары лап обняли ее голое тело. Женщина в ужасе отпрыгнула, но было уже поздно — множество лап обнимало ее, не выпуская. Женщина кричала, отбивалась, сопротивлялась, но вскоре силы ее иссякли. Она упала на мокрый пол... Лапы Паука мягко коснулись ее шеи, и она совсем стихла. Ничто больше Пауку не мешало, и он все тяжелее припадал к ее груди, прижимался к животу, и многочисленные лапы все сильнее сжимались.

Внезапно пол задрожал — в баню вбежал мужчина. Он схватил Паука за загривок, но оторвать его от женщины не смог.

Паук ощущал только теплоту женщины и ее дурманящий запах. Молодое тело больше не сопротивлялось, оно было податливым и таким гладким, что приходилось напрягать все силы, чтобы добыча не выскользнула.

Мужчина тряс Паука все сильнее. И тот понял, что его вот-вот разлучат с жертвой. Он спешил. Отыскав на шее женщины сонную артерию, Паук вонзил в нее челюсти.

Вкус крови его опьянил.

Мужчина в ужасе оцепенел, не зная, что делать. Тут он заметил валявшуюся на полу кочергу. Схватив, он воткнул ее в мягкое паучье брюхо. Раздался звук, похожий на глухой свист. Паук начал быстро таять, становясь все меньше и меньше.

Мужчина замахнулся, чтобы добить мерзкую тварь, но она все уменьшалась и уменьшалась. Мгновение... и будто серая горошина скатилась по груди женщины на пол и скользнула в щель между разошедшимися досками.



ВЕЧЕРНЯЯ РАДУГА

Свечи-палочки погасли.
Обморок от аромата.
Задохнусь я, как русалка,
И усну, как Травиата.

Ночью в омуте нет силы
Жить без милого, нет мочи.
И зажгутся над могилой
То ли свечи, то ли очи.

Уходить — так без возврата.
Лес посулов и напраслин.
Долго пряхть его нет смысла,
Этот дым, как нитку в прясле.

Слезы льет Грийе унылый,
Сыч на кладбище хохочет.
Безрассудный, глупый, милый
Хоронить меня не хочет.

Возле белых больших столбов
Я взрастила свою любовь.
А потом не могла простить,
Что твоей не могла взрастить.

Пусть Акрополь меня покрыл,
Папа римский перекрестил,
С той поры не могу расти
Я без рук без твоих, без крыл.

Не подарит мне самолет
Тяжких сил своего сопла.
Надо мною уж целый год
Никакой не силен соблазн.

Русская поэтесса Ольга НИКОЛАЕВА родилась в Ленинграде. С 1965 г. живет и работает в Латвии. Училась на филологическом факультете Тартуского, затем — Латвийского государственного университета. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Сельская молодежь», «Даугава», «Таллин», в альманахе «Поэзия», «Литературной газете» и других изданиях. Выпустила три сборника стихов: «Немеркнущий сад» (1976), «Живые искры» (1980), «Высокая горница» (1986). Пишет литературно-критические статьи о латышской и русской поэзии. Переводила стихи Аспазии, О. Вацетиса, Д. Азотыни, К. Скуеинекса, В. Люденса, М. Чанлайса, Я. Рокпелниса, Д. Дрейки, А. Айзпурите и других латышских поэтов.

Только видеть и целовать,
Только слышать и говорить.
Что же — с миром мне разорвать?
Не любить, не дышать, не жить?

* * *

Все живое — волновое,
Под ногой, над головою, —
Неживого в мире нет.
Льется тихое свечение,
Минералов излученье,
Радиация и свет.

Эти камни на запястье,
Приносящие несчастье,
Гальки с дырочкой в ноздре,
И моллюсков домовинки
(Смертоносны без начинки),
Камень-дерево в горе —
Все это куски живого
Мира, прежде дрожжевого,
А сегодня — в сухаре.

Сердолик — как сердце друга.
А коралл — хранит от сглаза.
Бойтесь свойств бесценной друзы
И опала и алмаза.

Всем полезна синь и зелень
Лазурита, малахита,
Изумруда, блеск сапфира —
Незловивым, справедливым —
И для дома, и для мира.

НАД ПОЛЕМ

*

Сказала почка полевая:
Не удивляйся, поливая,
Когда возрасту,
Что от тебя хочу стоять я
На расстоянии объятья,
Не за версту.

Сказала капля, пролетая:
Пока ты трудишься, вращая
И в высь и в грунт,
Упавшие в твои объятья —
И я и тысячами — братья
Мои умрут.

*

Восторг — лететь неудержимо.
Я — к цели, что недостижима,
Тяну свой перст.
Ты — дождь, всегда новорожденный.
А я — полжизни изможденный
Тенистый крест.

Экстаз свободного паденья
Вниз головой — иль восхожденье
Из синевы?
Вмиг жертвовать прозрачной плотью
Сучкам суставов и лохмотьям
Седой листвы?

Что ж? Если в муках долголетия
Ветвится целое столетье,
Миг — жить ему,
Как окрещенного младенца
В растрепанное полотенце,
Лети — приму.

*

— А темной ночью, а зимою —
Мороз и страх . . .
— А сколько жизней под корою
И на ветвях!
— Гнездо птенца и норка лисья.
Не объяснить.
— И каждый год лелеять листья
И хоронить?
— Да, всякой длительности доля:
«Боюсь», «хочу».
Но главное блаженство поля —
Ни слов, ни чувств.

* * *

Моря марево. Волна
С серебром оправы слита,
Бликами отражена
Бледного александрита.

Благородство белых руд,
Зелень света — все едино.
На руке моей замрут
Капли из аквамарина.

Брызг, нанизанных перстыми,
Зацелованных лучами,
Блики пленные возьми
Опаленными плечами.

Руки влажные прими
В жерле пламенного мига.
Станет розовым весь мир
За плечами, как фламинго.

Талисманами неси,
То ли в сердце, то ли в песни,
Эти моря и росы
Испарившиеся перстни.

В час, когда сгустилась мгла,
Дышащая, как лаванда,
Ночь лиловая впила
Зелень в камне Александра.

* * *

Я в свете твоём хочу светить.
Хочу в тебя врожденной быть.
Чтоб мог в Австралии души
В своей груди ты меня носить.

Тогда я волосы распушу
И внешней жизни все прощу.
Я буду своды твои обнимать,
Тебя, из тебя исходя, понимать.

Я, мать покинув, в тебя войду,
В твое сияние, как к отцу.
О, разве нельзя твоему венцу
От тьмы столь малую скрыть звезду!

* * *

Вновь войти мне жрицей надо,
Пусть на время, Прозерпиной,
В храм объятий, в колоннаду
Рук твоих, прильнув лепниной.

Обними, и не в обиде,
Вновь в Аид войду по пояс.
Только б луч зеленый видеть,
На груди твоей покоясь.

Толщей в тыщу километров
Застеклил мою гробницу.
Только слышно из-за ветра:
Снятся Канны? Помнишь Ниццу?

ВЕЧЕРНЯЯ РАДУГА

На западе цвета сливы —
Влажнеющих глыб наплывы
И нежно-серого тона
Агаты и халцедоны.
Послойно текут, дымятся,
Толпа за толпой теснятся,
Громовой кровлей кроют
И синие ямы роют.

Всхожу на чердак. На крыше —
Там нижут все выше, выше;
Из пуха паров мостится
Перо к перу — черепица,
Дорога дождей, где глыбы —
Чешуйка к чешуйке — рыбы,
Щиток на щиток — стрекозы;
И, как лепестки у розы,
Там тающих туч овраги,
У розы из пепла влаги,
Из пороха мелких капель —
Тычинки лучистый скальпель
Сканирует мир сквозь кипень
Паров ослепленных — скипетр!

Задумалась. Вдруг — озоном.
В ноздри, в глаза — газонам.
В недра гор водяных
Линзы наведены.
Софиты. Но с верхней полки —
Сапфировые осколки,
С блесками заходя
Солнечного дождя.

Прощаясь с далеким громом,
Я радуги жду за домом.

Вечером на востоке
Воздух на водостоке
Высвечен на сыром —
Дужкою над ведром.

* * *

Мне кажется, и жук, и сад,
Сгорая и лучась, кричат.
Любя — блестят и шелестят.
Чернея, скручиваясь, — мстят.

И, зная, что бессмертник мертв,
Ты каждой смерти смысл придай:
Гасить бессмысленно не смей
И лишней жертвы не желай.

Пусть лишь в неодолимый дар
Возьмут меня, возьмут тебя.
Для новых солнц, творя, любя,
С живой свечи снимают жар.

Когда и к нам придут жнецы,
Там свет иль только блеск косы?
Да жнут меня Отец и Сын,
Как с нив тучнеющих — косцы.

«LŪDZU!»

ИЛИ СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ЛАТЫШСКОМ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Когда Дмитрий Сергеевич Лихачев опубликовал свои «Заметки о русском», больше всего, пожалуй, поразили даже не они сами, сколько то, что их раньше не было. Как же так? Как же мы обходились — русские без понимания себя, нерусские — без понимания их? Ведь все в современном мире, а уж тем более в нашей стране так или иначе связаны с русским! Это может нравиться, может не нравиться, но — так сложилось, и от этого, как говорят, никуда не денешься...

О латышском, казалось бы, ничего похожего не скажешь. Небольшой численно народ, всего-то полтора миллиона латышей во всем огромном мире, и даже у себя дома, в своей маленькой Латвии, уже, по-видимому, не составляет большинства населения. И никогда не был большим, и никогда от него не зависели не то что судьбы мира, даже — ближайших соседей. Чем и кому он может быть интересен, тем более — важен, необходим?

Правда, был один такой момент, когда не латышский народ в целом, а всего несколько сотен его представителей весьма существенно повлияли на судьбы человечества в нашем столетии. Тогда они 6 июля 1918 года оказались единственной реальной силой, помешавшей успеху левозсеровского мятежа, который должен был привести к свержению Советского правительства и неизбежному изменению характера Октябрьской революции, а скорее всего — к ее поражению. И история,

весьма вероятно, развивалась бы как-то по-иному...

Но сейчас речь не об этом, для нашего разговора важно, что поведение латышских стрелков, подавивших мятеж, было не случайно, хотя, со стороны глядя, совершенно не логично: ведь Брестский мир, против которого выступали эсеры, лишил стрелков родины, отдавал Латвию Германии. И чтобы понять их действия, мало сказать, что они были революционерами, надо знать и то, что они были латышами, представителями своего народа, с его историей и судьбой, культурой и нравственным опытом.

Дело не в том, что латышский народ какой-то особый, хотя, конечно же, — особый, потому что неособых народов нет, как нет неособых людей. Когда-то Евгений Евтушенко написал об этом известные стихи:

Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы, как история планет:
У каждой все особое, свое,
И нет других, похожих на нее...

Действительно, нет. Только «особый» не значит — лучше или хуже, просто — другой.

Вспоминая о гражданской войне, Демьян Бедный писал:

Заслуги латышей отмечены.
О них, как правило, пиши:
Любые фланги обеспечены,
Когда на флангах — латыши.

Они были преданы революции... Но таких были миллионы, и в этом

смысле они ничем не отличались от этих миллионов, но они были преданными революцией латышами, и это во многом определило их особую роль и судьбу в революции.

Но что значит быть латышом в революции? Для этого надо сначала понять, что вообще значит быть латышом. Быть представителем народа, который, строго говоря, не только не должен был выжить, но даже сформироваться, который всегда жил с ощущением угрозы своему физическому существованию.

Сейчас-то все человечество оказалось под этой угрозой и никак не хочет это осознать, что и может стать причиной его гибели. А латыши так живут лет эдак восемьсот. Так что их опыт, как и опыт других народов сходной судьбы, сегодня бесконечно актуален. Он учит, как выжить, когда выжить невозможно, во всяком случае — погибнуть несравненно проще, а может быть, как это дико ни звучит — и легче.

Ведь в истории Европы все те народы, которые теряли свою независимость, не успев создать своей государственности, как правило, исчезали — гибли, ассимилировались, растворялись в других народах. При этом латышам выпал жребий из самых безнадежных: они были завоеваны в XIII веке Орденом меченосцев, позднее — Ливонским орденом, не успев еще сформироваться из племен в единый народ. Они почти все время были разделены между различными, часто враждебными государственными образованиями и даже в царской России входили в три различные губернии. При этом Латгалия была частью Витебской губернии, относившейся к другому генерал-губернаторству. И политическое объединение впервые стало возможно только в XX веке, после Октябрьской революции.

Даже у эстонцев, близких соседей и народа очень близкой судьбы, ситуация была как будто чуть-чуть полегче: и губерний поменьше, и принадлежность к большому угро-финскому миру, оставившая память о могучем прошлом в виде мощного героического эпоса «Калевипоэг», придавала силы и пусть иллюзорную, но все же основу для надежды на будущее.

От немногочисленной балтийской группы народов кроме латышей остались только литовцы со своей нележкой,

но очень отличной исторической судьбой. Пруссос помнят по названию «Пруссия», хотя редкий связывает его не с немцами, а с балтийским народом, уничтоженным немецким нашествием. А уж о ятвяхах кто, кроме узких специалистов, хотя бы слышал?

Мы знаем, какое огромное значение в борьбе за выживание для армян, грузин, болгар, помимо памяти о своей государственности, имела религия как фактор национального единства. Но у латышей, как и у эстонцев, религия была навязана захватчиками огнем и мечом и была фактически средством национального подавления. Впоследствии, правда, ее роль перестала быть столь однозначной, но все же говорить в Латвии о христианстве как о в полном смысле слова народной религии вряд ли есть основания.

Вот такая ситуация. Не день, не год, а семь долгих столетий подряд... Как народу выжить, как не потерять себя? Тем более, что судьба предлагала только тяжкий физический и, чаще всего, — подневольный труд. Ни аристократии, ни интеллигенции — традиционной носительницы народного самосознания. Какие качества народного характера должны были выковаться, чтобы выстоять? Не только выстоять, но создать и развить самобытную культуру, совершенствовать и обогащать родной язык?

Ну, конечно, трудолюбие, упорство и терпение. Правда, этому любой крестьянский народ учит сама природа. Ее невозможно ни уговорить, ни заставить, только упрямо искать и терпеливо использовать предоставленные ею условия или погибнуть. Выбор, что и говорить, невелик, и это воспитывает еще одну черту характера, определяемую в латышском языке очень популярным существительным «grātigums» или чаще — прилагательным «prātīgs». Во всяком случае, когда о человеке хотят сказать нечто хорошее, чаще всего употребляется именно это слово, которое я не умею одним же словом и перевести. Не то чтобы в русском языке не было соответствующих синонимов, это и «разумный», и «рассудительный», и даже «расчетливый», но всем им присущи несколько другие эмоциональные и смысловые оттенки, другой контекст, чем их латышскому аналогу. Прежде всего, он абсолютно положителен, хотя соединяет в себе разумность с осторож-

ностью, рассудительность со смирением. Это не мещанский страх перед неприятностями, а ответственность человека за свои поступки, когда положиться «на авось» или даже позволить себе неоправданный риск — значит подвергнуть опасности не только свою личную судьбу.

Вот вам типично латышская коллизия, легшая в основу пьесы драматурга Паула Путныньша «Приглашение на . . . порку». Суть ее вкратце такова. 1906 год. В Латвии зверствуют карательные экспедиции, подавляя восстание народа. Немецкий барон Хабихт снова получает власть над имением и судьбой крестьян и придумывает изуверский способ отомстить непокорным и морально их раздавить. Он не будет, как другие бароны, расстреливать бунтовщиков, он им просто напомнит, как в начале событий 1905 года в его присутствии агитатор явился в церковь на богослужение и, прогнав с амвона священника, обратился к крестьянам с возмущительными призывами. Он тогда приказал крестьянам разойтись. Некоторые ушли, а большинство осталось. Тогда он велел управляющему переписать бунтовщиков. А теперь пусть они сами, никто списков вывешивать не будет, добровольно, в знак признания вины и раскаяния, явятся в воскресенье на площадь перед церковью на порку. Кто бы это ни был — старик, женщина, подросток — все равно. А кто не явится, кто, следовательно, не раскаялся, пусть пеняет на себя: хутор его семьи со всем добром будет сожжен карателями и пусть убираются на все четыре стороны.

В центре действия пьесы — семья, из членов которой в тот злополучный день в церкви была только мать семейства. У нее дети, маленькие внуки. Поэтому для нее самой дело не в ней, а в судьбе близких, их будущем. Центр пьесы — диалог матери с сыном-революционером. Спор, по существу, о принципах: можно ли, глотнув свободы, вновь подчиниться рабству? Для сына все ясно: лучше погибнуть, чем быть рабами, овечьим стадом, скотом.

А мать, в ответ на декларации сына о времени, которое требует от всех только одного — быть несгибаемыми, говорит: «. . . А мне как раз кажется, что настоящее время требует от человека быть разным, то есть — более умным. Уже семьсот лет латыш

смог выжить только при помощи своей мужицкой хитрости, а значит — ума. Таков удел малых народов . . . » И когда сын заявляет, что в любом случае главное — быть гордым и свободным, она стоит на своем: «Сначала — живыми, а потом — гордыми и свободными».

У каждого из них своя правда. Борец, сдавшийся перед насилием, предает себя и своих живых и погибших товарищей, свое дело. Мать, подчинившаяся насилию, чтобы спасти детей, спасает свой народ. И сын уходит, чтобы сражаться, а мать идет на порку.

Такая вот история. Как вы понимаете, речь здесь не о храбрости или трусости, ибо еще неизвестно, что требует большего мужества — принять, так сказать, «приглашение» или гордо отказать. Латыш Паул Путныньш видит здесь другую проблему: что разумнее, вернее — *prātīgāk* — выжить ценой унижения или погибнуть. Не в общем разумнее, а именно в данном случае, потому что в ином случае, когда это значит отказать от себя и своего народа, единственно разумным может оказаться смерть. Латышская литература исследует и такие ситуации, даже относящиеся к той же эпохе революции 1905 года. Например, Андрей Упит в своей классической трилогии о Робежниках. Так что разумность по-латышски несколько особого рода, потому и соответствующее слово плохо переводится на другой язык.

Но и это качество, как и трудолюбие, упорство и терпение, которые уже упоминались, абсолютно необходимые малому поработанному народу, чтобы выжить, чтобы просто сохранить, как говорят латыши, «голую жизнь», все же оказываются недостаточными, если человек хочет стать личностью, а народ — создать свой духовный мир, расти и развиваться. Для этого мало нравственного начала, нужно еще и начало творческое; мало пользы, нужна еще и красота.

И вот тут мы сталкиваемся у латышей с такой неразумной избыточностью, что заставляет еще раз осознать всю приблизительность любого перевода латышского понятия «*prātīgums*».

Ну, какое может быть рациональное объяснение тому, что у полтора-миллионного народа записано более двух миллионов (!) народных песен,

на каждого латыша по одной персональной и еще останется... Откуда такая фантастическая творческая продуктивность? И для чего? Откуда вообще эта огромная и все еще живая роль фольклора в бытии народа? Попробуйте найти ребенка, даже дошкольника, который бы не знал и не мог спеть народную песню, и не одну. Не удастся. Невозможно представить себе свадьбу, день рождения, просто встречу родственников или друзей, даже поминки, на которых бы не пели все вместе народные песни. Точно также национальный костюм для латыша отнюдь не экзотика и уж ни в коей мере не музейный экспонат.

Таким образом, фольклор для современного латыша не архаизм, а органическая часть его повседневной жизни и мироощущения, что в высшей степени необычно в наше время для народов европейской культурной традиции.

В ней, как известно, проявляют себя и взаимодействуют целых три культурных потока — два общих и один для каждого народа сугубо индивидуальный. Общие — античное и христианское, включая ветхозаветное (не собственно религиозное, а именно культурное) наследие, и индивидуальное — опирающееся на исторический опыт самосознание, художественно осмысленное в фольклоре, народном творчестве, обычаях. Культурное своеобразие вырастает, конечно, не только из фольклорной традиции, но и из характера и степени освоения остальных двух традиций и особенностей их взаимодействия между собой.

Исторически сложилось так, что для латышского народа непосредственное восприятие общего культурного наследия было сильно затруднено. Античная традиция европейскими народами усваивалась, начиная с Возрождения, через посредство своей интеллигенции, которой латыши до второй половины прошлого века были лишены, поскольку доступ к интеллигентским профессиям был, можно сказать, закрыт и во всяком случае связан, как правило, с отказом от своего национального происхождения. Христианская же традиция, принесенная унетателями, по этой причине больше всего теряла именно в своей гуманистической ипостаси.

Как же было в этих условиях фольклорной традиции не занять ведущее место и не сохранить свою

жизненность до наших дней? Таким образом, фольклор воплотил в себе не только художественное самосознание, но и народную философию, веру, не говоря уже о нравственности. Он стал его религией и его историей.

Это очень необычный фольклор как по составу, так и по своему характеру. Прежде всего, в нем начисто отсутствует эпос. Известный всем «Лалчплесис» — произведение литературное. Оно не собрано из уст народа и обработано, как «Калевипоэг» Фридрихом-Рейнхольдом Крейцвальдом или «Калевала» Элиасом Лёнротом, оно целиком и полностью сочинено Андреем Пумпуром. Нет в латышском фольклоре и ничего соответствующего русским былинам. Все остальные общеизвестные фольклорные жанры (кроме плачей, но это разговор особый) в нем, правда, представлены, но с явным преобладанием лирики, главным образом в форме песни. Это, как правило, очень короткие песни, в них обычно нет никакой фабулы, нет действия, чаще всего они выражают настроение, раздумье или мечту.

К сожалению, не могу предложить переводы дайн (народных песен), не потому, что их вообще не существует, а потому, что не верю в возможность их перевести. Чтобы дать о них хоть какое-то представление, попытаюсь некоторые из них просто пересказать. Например: «Вскакивай, солнышко, утром рано,/ сходи вечером вовремя:/ поутру пригревай,/ вечером — приласкай».

Ну как на русском языке сказать солнцу «вскакивай»? А без этого как передать заложенный в песне образ человеческой судьбы, соединить молодость и старость, чтобы почувствовалось, что речь не о солнечном дне, хотя и о нем тоже, но о человеческой жизни?

Можно ли назвать Волгу Волгушкой или, скажем, — Волгочкой? А Даугаву в песне не только можно, но часто — должно. А месяц месячком, наподобие украинского «месяченько»? Гром — громиком? Жизнь — жизненькой? Может быть, всем этим просто пренебречь? Переводчики чаще всего так и поступают (а что им еще предпринять?). Но как тогда передать ту тесную, почти родственную связь, которую ощущал (и, думаю, ощущает) фольклорный латыш с явлениями при-

роды? Они для него не грозные, не могучие, они — свои, в противовес чуждости и враждебности социальных условий.

«Что, матушка, делать буду,/ если за месяц выйду?/ Месячик все ворочается,/ то он молодой, то он старый».

Можно за месяц замуж пойти, а можно с ним и за жизнь потолковать:

«Месячик, старый дед,/ кто нас старыми сделал?/ Ты согнулся, как козлик,/ я, как копенка сена, стала».

И с громом («громиком»), оказываются, поговорить можно:

«Громики, пятеро братьев,/ что ваша мать делает?/ Наша мать сита плетет:/ мелкие дождики надо сеять».

Это только одна сторона мироощущения латыша. Чтобы показать богатства дайн, нужны тома. Недаром классик латышской литературы Карлис Скалбе назвал их «духовным отечеством». Их язык выявляет удивительные связи в народном мышлении. Скажем, в них слово «darīnā» значит и выполнять какую-то определенную работу, и украшать, и петь, и даже сочинять песню. Так сплелись труд и красота, труд и песня. А слово «писать» — «rakstīt» — это также и вышивать, вывязывать, вырезать узор в дереве, и оставить след на земле...

Мир песни настолько широк и многообразен, что у каждого латыша не просто своя песня, но свой песенный мир. Недаром издательство «Лиезма» предприняло издание серии «Моя народная песня», составителями каждой из книг выступают не ученые-фольклористы, а уважаемые в народе люди самых различных профессий. Первую из них, к примеру, составил народный поэт Латвии Имантс Зиедонис. Он назвал ее (опять я не уверен, что так вообще можно сказать на другом языке) строкой из дайны: «Ты прожила великий труд». В выходных данных книги дан такой русский перевод названия: «Труд великий ты вершила». Звучит хотя и высокопарно, но ухо не режет. Только вот со смыслом как быть? Важно ведь не то, что много трудился человек, а что сама жизнь — это великий труд. И это основа народного миропонимания.

Хочется сослаться на И. Зиедониса, на его понимание дайны, хочется его цитировать, но как его пропитанную фольклором мысль точно передать на русском языке? Казалось бы, русский язык настолько богат, что может пере-

дать любую мысль, любой ее оттенок. И это безусловно так. Только вот речь не о мысли, а о способе мышления, характера восприятия мира и себя в мире. А это не в словах, а во взаимосвязях их между собой и с миром. Ну, напишу я вместо уже упоминавшегося слова «rakstīt» его точный вроде бы русский аналог «писать», но ведь исчезнут все остальные его смыслы, которые данному русскому слову не присущи, и поэтому у русского человека оно вызывает совсем другой круг ассоциаций и смыслов. Это не имеет никакого отношения к богатству или бедности языка, за непереводаемостью разный исторический опыт, разная традиция осознания и ощущения мира. Поэтому перевод дайны напоминает образ героя из русского фольклора, которого убитого окропили мертвой водой — и он сросся, а живой воды не оказалось — и он не ожил. Все на месте, да души нет.

Вот и размышления Имантса Зиедониса непонятно, как передать. Центральное слово в них — глагол «kort». А это и возделывать, и растить, и заботиться, и ухаживать, вообще — длительное, рассчитанное на долгий срок действие с осмысленной и благой целью, можно бы сказать — «культивировать», да в этом слове нет ни запаха, ни цвета. Не говоря уже о том, что «kort» очень созвучно с «korā» — «вместе, сообща» — и с обозначающей то же самое приставкой «kor-». Как мне все это сохранить в переводе?

Имантс Зиедонис говорит, что в дайнах он «искал систему». И нашел ее. Ничто так не выматывает человека, как судорожное движение, аритмия. Ритм все делает созвучным, ритм подымает, увлекает и делает счастливым. Счастье — это всего лишь порядок всех вещей, больше ничего. Разве это не главное, чего мы хотим? Разве не согласия мы ищем?..

Ибо ничто другое мне не мешало, только несозвучность. Несозвучность идет от незнания. Когда я, не зная или нарочно, нарушаю некие общие для всего мирового развития законы или правила. Действуют они всегда на трех главных уровнях бытия:

- моей собственной жизни,
- общей жизни людей,
- на уровне идей и принципов.

Созвучная (гармоничная) жизнь требует от меня действия во всех этих трех направлениях и почти всегда —

одновременно. Возделывать (kopī!) себя, возделывать (kopī!) общество и содержать принципы как таковые, то есть идеи по масштабу идей. Как только я действую на одном лишь уровне, другие не возделывая, начинают несогласие, несоответствие, сложности, нарушения в общем порядке (такие нарушения можно назвать и проблемами). Как только я не возделываю в себе себя, я начинаю паразитировать, я использую энергию других людей — энергию мысли, чувства, плоды труда. Тогда говорят: это человек, от которого нет отдачи. Все равно — дурак он или хитрый эгоист. Один себя совсем не возделывает, а другой возделывает только себя.

Когда человек воображает, что возделывать надо только общество, и не оставляет времени для самоанализа, для рефлексии, для размышлений, начинается бюрократизация общества. Неполноценные возделыватели создают неполноценное общество.

Когда человек сам или коллектив в целом (korā) возделывает (korj) себя вне присутствия доброй идеи, возникают люди примитивных устремлений и такие же людские слои: погоня за вещами, радости обжорства, леность у телевизора, хоккеемания, страсть к охоте, «культура финской бани»...

Но если я возделываю только идею, принципы, постулаты, программы и запрещаю себе себя, свои личные радости, свое окружение и своих союдей, я становлюсь одиночкой, отшельником, аутсайдером, мучеником своей идеи, фанатиком... Но жизнь не требует, чтобы человек мучился, эволюцию движет вперед только созвучие и согласие...

Итак — три направления я увидел для себя в народной песне: возделывание себя, возделывание других и «возделывание идеи».

Очень важным водоразделом для различных культур является отношение к смерти. В латышской традиции смерть как бы включена в жизнь. Детей с самого раннего возраста берут на кладбище, они помогают ухаживать за могилами, им рассказывают о людях, которые здесь похоронены, да и само кладбище, всегда тщательно ухоженное, много цветов, зелени, деревьев, больше похоже на парк и вызывает мысли не столько о смерти, сколько о людях, здесь покоящихся, их судьбах и вообще — о жизни и ее смысле. Сю-

да приходят не только, чтобы почтить память умерших, но и за душевным покоем. Диалог с умершим как бы не прекращается. Это не значит, что в смерти нет трагизма. Но трагизм — в разлуке, в потере близкого человека, а не в самом факте смерти. Человек живет в «*rasaulē*» — в мире, а в буквальном переводе — под солнцем, после смерти он переходит в «*aizsaulē*» — за солнце, словом, примерно то же, что в сопоставлении «этот свет» и «тот свет». Иногда латыши тоже говорят «это солнце» и «то солнце».

«В этом солнце/ на этом свете,/ в этой земле/ в гостях только пожила./ То солнце, та земля —/ они на весь век».

Причем в том солнце (на том свете) все, как и на этом свете, — пашут, сеют, ткнут, вяжут... Более того, среди — *veļi* — душ умерших людей, есть дети и есть мать. В дайнах о смерти то и дело появляются «*veļu bērni*» и «*veļu māte*»: то в них сообщается, что нельзя поздно хоронить, а то дети душ усопших ворота на тот свет закроют, то рассказывается, как мать душ заманила девушку на тот свет — положила горшок с медом на дно глубокой грядки (в могилу) и т. д.

Дайны о смерти очень часто поются от имени умерших. В них есть все: и сожаление о краткости жизни, и сочувствие к родителям, жене, мужу, детям, что одни останутся, только нет страха перед смертью. Очень уж, очевидно, была трудна жизнь на этом свете, да и на том, наверно, то же самое будет. Вот и знает латыш горе от расставания с родным человеком, а плачей в латышском фольклоре нет. Горе идет об руку не с отчаянием, а с воспоминаниями и размышлением (вот мы и опять столкнулись с рассудительностью — но не рассудочностью! — с тем самым латышским «*prātīgums*»).

Но народный характер — это не нечто раз и навсегда данное, застывшее. Его формирует не только история, но и сегодняшний день. Мы уже говорили, что у латышей нет эпоса, нет героических преданий. Это фольклор не воинов, а землепашцев (кстати, в народной песне жених — «*arājs*», пахарь, а невеста — «*malēja*», та, что зерно мелет). Но тогда трудно объяснить феномен латышских стрелков, вообще — особую революционность латышей в 1905, потом в 1917 году и во время гражданской войны.

Но в том-то и дело, что это объяснить только традициями народа невозможно. Революционность коренится не в генах, не в крови, а в социальных обстоятельствах, хотя, несомненно, исторический опыт и традиции накладывают свой отпечаток на характер его революционности, на способы ее проявления.

Чтобы понять, откуда взялись латышские красные стрелки, надо вернуться на сто, а может быть, и на несколько сот лет назад. Надо обратиться, например, к 1819 году, когда за 40 с лишним лет до того, как это произошло во всей России, был принят закон об отмене крепостного права в двух из трех населенных латышами губерниях. Освобождение крестьян было по сути своей издевательским: их освобождали без земли. Вся земля оставалась в руках помещиков. А значит, и вся власть, потому что другого пути, как, теперь уже так сказать «добровольно», идти в кабалу к барону, не было: вплоть до 1863 года у них не было права свободного передвижения, а выдача паспорта была отдана на усмотрение помещика.

Недаром революционные демократы перед реформой 1861 года пугали русских крестьян судьбой латышских крестьян и на их горьком опыте призывали бороться за освобождение с земель.

Латышские крестьяне из крепостных были разом превращены в сельских пролетариев, что впоследствии стало основой для быстрого роста и латышского городского пролетариата. В результате к концу XIX века латыши были, по-видимому, наиболее пролетаризованным народом царской России, а может быть, и не только ее.

И пролетариат этот прошел особую школу. Его предки и он сам испытывали двойной гнет — как социальных, так и национальный. Кроме того, хуторской образ жизни, когда крестьянский дом отстоит от соседнего на расстоянии километра, а то и больше, приучает самому справляться со всеми трудностями, воспитывает самостоятельность, что в сочетании с пролетарской дисциплиной и сплоченностью составляет серьезную базу для осознанного революционного действия. При этом следует учесть, что грамотность среди латышей была широко распространена уже с XVIII века. Большинство из них не только принадлежали к тем, ко-

му, как сказано, нечего терять, но многие и осознавали свое положение.

Поэтому неудивительно, что революция 1905 года в Латвии была, можно сказать, общенародной. Практически нет не то что уезда, нет волости, в которой не происходили бы революционные события. Есть буквально сотни памятных мест в маленькой Латвии, где карательные экспедиции — стреливали революционеров — крестьян, рабочих, учителей, студентов.

Насколько эта революция была именно общенародной, демократической, можно судить и по такому факту: даже в годы буржуазной Латвии люди, которые по возрасту могли участвовать в событиях 1905 года, но не участвовали или, тем более, поддерживали баронов, практически не имели возможности сделать политическую карьеру. Здесь, возможно, речь шла не столько о принципах, сколько о политических прилиниях и общественном мнении. Но за этим стояли исторические факты, которые были у всех на памяти.

О латышских красных стрелках слышали все, но далеко не все знают, откуда они взялись. А латышские стрелковые подразделения состояли из добровольцев. Отсюда их высочайшая сознательность и боеспособность. Они были впервые сформированы в августе 1915 года, после того как германские войска захватили западную Латвию — Курземе, из которой ушли от оккупантов сотни тысяч людей, в том числе, чего практически почти никогда не бывает, — множество крестьян, бросивших свои хозяйства. Так сильно было нежелание примириться с властью вековых угнетателей.

30 мая 1917 года, за 5 месяцев до Октября, стрелки встали на сторону большевиков. Они были первыми воинскими частями, заявившие о своей солидарности с Лениным, в пору, когда большевики еще были, говоря по-современному, явными политическими аутсайдерами, единственным отказавшим Временному правительству в поддержке меньшинством, которое официальные политики еще и всерьез не принимали. Но за стрелками был опыт революции 1905 года, показавший, что в революции надо идти до конца, и опыт империалистической войны, который развеял малейшие иллюзии в отношении тех, кто находил для этой

боини какое-либо оправдание. Они встали на сторону большевиков не потому, что за ними была сила, в тот момент ее еще не было, а потому, что за ними была правда, та правда, которую стрелки сами выстрадали. Они увидели в позиции Ленина то, к чему пришел их народ за сотни лет испытаний: гибкость в тактике при абсолютной верности стратегическим целям, способность пренебрегать любыми сиюминутными выгодами, если они мешали или хотя бы замедляли движение к главному, умение жертвовать близким во имя дальнего.

Словом, так сложилось, что подход Ленина к действительности оказался очень созвучным не только личному политическому опыту стрелков, но и исторически сложившемуся характеру мышления народа, его ментальности (тут надо еще учесть, что судьба латышского народа проявилась и в том, что вплоть до двадцатого века для него характерна большая социальная однородность, это была почти исключительно народ трудящихся, уже в девятнадцатом веке, как было сказано, сильно пролетаризированных. Недаром в устах немецких баронов слово «латыш» означало зависимого крестьянина. Поэтому национальное самосознание у латышей даже в начале двадцатого века очень близко совпало с социальным).

Для латышских красных стрелков Брестский мир с кайзеровской Германией был бесконечно горьким, но понятным компромиссом: чтобы победить, революция должна прежде всего выжить (помните: «Сначала живыми, а потом гордыми и свободными» . . .). Они понимали, что победившая в России революция — единственный гарант ее победы в Латвии, свободная Латвия без свободной России невозможна. Поэтому они и не пошли за эсерами 6 июля 1918 года, поэтому они весной 1919 года покинули Латвию и оставили в ней ими же установленную Советскую власть без вооруженной защиты, чтобы в боях под Орлом и Кромами вместе с другими частями Красной Армии не пропустить победно наступающую армию Деникина к Москве и нанести ей решающее поражение.

Не их вина, что плоды революции были украдены, что мечты о народном социализме сменила действительность социализма казарменного. Не

стала подлинно свободной Россия, и это драматически сказалось на судьбах как самого русского, так и других исторически с ним связанных народов, в том числе и латышского.

Но через все драматические и временами трагические десятилетия, до наших дней и, может быть, именно в наши дни особенно утверждается справедливость старого латышского народного лозунга «Свободная Латвия в свободной России!». В этом, в понимании взаимосвязанности исторических судеб, на мой взгляд, одна из важных причин народной активности в Латвии в поддержку перестройки, в поддержку подлинной демократизации жизни всего нашего общества.

Если же продолжить мысль о том, как в народном характере переплетается социальное с национальным, то, как мне кажется, стоит обратиться к биографии первого главнокомандующего Красной Армии Юоакима (Юкума) Вацietиса. Любопытнейший, с сильным характером юноша из крестьянской семьи сумел окончить академию Генерального штаба, стать полковником царской армии. В политике он активного участия не принимал, но справедливостью и любовью своих стрелков, и когда они решили идти с большевиками, он пошел с ними и прославился как один из виднейших военачальников революции. А в молодости Юкум Вацietис был одним из тех, кому публично выразил благодарность в печати Отец дайн Кришьянис Барон, собиратель и составитель первого многотомного издания дайн, ставшего важнейшей вехой в утверждении национального самосознания латышей.

За что же благодарил великий фольклорист будущего красного полководца? За то, что он оказался среди тех, кто записал для изданий дайн наибольшее количество народных песен . . .

Есть ли какая-то связь между собиранием дайн и превращением царского полковника в Главковерха Красной Армии? Не знаю, прямая — вряд ли. И все-таки . . . Ведь и для него, как и для его стрелков, народная песня была «духовным отечеством». Они вместе прошли мясорубку империалистической войны. Почему бы ему не сделать общие с ними выводы из этого трагического опыта? В конце концов,

у них была общая колыбель и общая школа войны.

Конечно, в одной статье, да и вообще одному автору не под силу дать всестороннее представление о национальном характере, тем более, что научное его изучение пока еще по-настоящему и не начиналось. Поэтому в основе данных заметок главным образом личные наблюдения и размышления автора, которые, естественно, могут и должны быть дополнены, в чем-то уточнены, а в чем-то, очевидно, и оспорены. Однако надеюсь, что в любом случае не будет подвергнута сомнению добрая воля и желание понять.

Надеюсь также, что в этом смысле я, всю жизнь живя в тесном контакте с коллегами-латышами и в латышской среде, нахожусь под влиянием одной, на мой взгляд, прекрасной латышской традиции. Внешне она проявляется, в частности, в том, что в общении чаще всех употребляется слово «lūdzu». Обычно его переводят на русский язык словом «пожалуйста», но буквально, и не только буквально, оно значит «прошу».

Если воспринимать со стороны, порой это звучит почти комически. Мать обращается к маленькому, лет примерно трех, сыну: «Перестань, прошу, плохо вести себя. Встань, прошу, в угол!» Произносится это спокойным тоном, не повышая голоса (ведь матери стыдно за него, вдруг все заметят его проступок) и выполняется, как правило, беспрекословно.

Латыша, да и вообще человека, долго прожившего в Латвии, довольно легко узнать и когда он говорит по-русски. И потому, что раза в два чаще, чем принято, употребляет слово «пожалуйста», и по довольно неуклюже порой звучащим по-русски оборотам с тем же словом. Вы что-то говори-

те человеку и вдруг слышите в ответ: «Что, пожалуйста?» С непривычки, случается, теряются: «Что «что» и при чем тут «пожалуйста»?» А это просто калька с латышского, которая постоянно звучит в латышской речи и на нормальный русский язык переводится примерно так: «Извините, пожалуйста, я не понял, что вы сказали». Как бы то ни было, без слова «lūdzu» невозможно представить себе никакой разговор, даже не самый дружелюбный по смыслу.

«Ну и что?» — возможно, скажете вы (латыш бы непременно произнес: «Ну и что это, пожалуйста, значит?»). А то, что мы имеем дело не только с формулой вежливости, характерной для латышского речевого этикета и подчеркивающей уважительность отношений даже между близкими людьми, но в то же время делающей их как бы менее личностными, менее интимными, создавая известную дистанцию, суверенное пространство личности, принадлежащее только ей.

Но у этой формулы есть еще один аспект, может быть даже более важный для нашего разговора. Почему мне представляется существенным перевод слова «lūdzu» буквально «прошу»? А вы вслушайтесь: «Сделайте, прошу!», или: «Вдумайтесь, прошу!», или: «Помните, прошу!». По-латышски это не мольба, а призыв, личная просьба человека, обращенная к другому человеку, — вникнуть, подумать, не спешить с выводами, быть разумными — «prāfīgs».

А что еще более актуально в сегодняшнем, балансирующем на краю гибели мире, чем призыв к терпимости, взаимопониманию, призыв к тому, что латышская традиция определяет словами «prāfīgs» и «prāfīgums»?!

Ну, пожалуйста! Lūdzu!

ОБРЕЧЕНА НА ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Точка зрения человека из Системы

Марксизм непримирим с национализмом, будь он самый «справедливый», «чистенький», тонкий и цивилизованный.

В. И. Ленин, т. 24, с. 131

Сейчас мы делаем множество печальных открытий. Их счет еще не окончен, но главное — их восприняло все государство. Казалось бы, национальный вопрос решен раз и навсегда, давным-давно, и мы гордились этим решением. У нас — порядок и покой. Доходили иногда смутные слухи о столкновениях, даже образованные люди рассказывали анекдоты про Абрама и Ваню, но проблем не было. Увы, были — начиная с самых давних ошибок, перегибов и перекосов и кончая застойным гниением, когда вся муть поднялась со дна. Теперь нельзя их больше замалчивать, заглушать, откладывать на будущее. Надо платить старые долги, на которые наросли большие проценты. Как и по многим другим счетам.

КАК ЭТО БЫЛО

Задолго до революции Ленин уделял большое внимание национальной теме. «...Толковать о национальном чувстве, как самостоятельном факторе, значит только замазывать сущность дела...» (т. 1, с. 155) — отметил он еще в 1894 году. Впоследствии, когда победившие народы соединялись в

единое государство, он очень болезненно воспринял инцидент с рукоприкладством Орджоникидзе, выполнявшим указания Сталина, и с Держинским, проявившим мягкость в этом случае. На двух последних Ленин возложил всю ответственность за происшедшее (т. 45, с. 361). Там же было сказано о необходимости «...защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских... рабочих будет тонуть в этом море... швали, как муха в молоке». Опасения Владимира Ильича, увы, подтвердились. Но в годы, когда шла классовая борьба со всем ее накалом, пусть и излишним, шло строительство, подготовка обороны, а далее — война, за реальными, болезненными, более насущными вопросами национальный не ощущался так остро. И в двадцатые, и в пятидесятые годы национализм считался чужеродным явлением. Война показала жизненность союза народов, но и вызвала новые тяжкие ошибки. Из-за отдельных предателей, которые, увы,

встречаются в любой нации, целые народности были сорваны с места и отправлены в ссылку. Народы Кавказа, татары Крыма были насильственно выселены с «малой Родины», где жили сотни лет. Если в тридцатые годы Сталин обвинял людей, то теперь — «врагами» стали целые народности. Сейчас очевидцы с болью вспоминают те предвоенные и послевоенные трагедии. На многие годы вперед был заложен фундамент будущих бед.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Евреи есть, а вопроса нету . .

*И. Ильф, Е. Петров.
Золотой теленок*

Я знаю, откуда легенды о еврейском богатстве: евреи всегда расплачивались за все.

С. Е. Лец. Афоризмы

Положение еврейского народа со времен разгрома Иудеи Римом было малоприятным. И в средневековой Германии, и во Франции при Филиппе Красивом, и в инквизиторской Испании — они неоднократно бывали гонимы и уничтожаемы. Тому приводилось множество оправданий, в первую очередь религиозного характера (только в наше время папа римский официально объявил о невиновности еврейского народа, что, впрочем, мало помогло). Но — «люди всегда были и будут... жертвами обмана и самообмана... пока они не научатся за любимыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами... разыскивать интересы тех или иных классов» (В. И. Ленин, т. 23, с. 47). Каковы же были интересы? Евреи, не имея своей земли, занимались в основном ремеслами, торговлей, науками. Не имея своего государства, были социально беззащитны. И поэтому в случае, когда требовались средства, их спокойно грабили, когда надо было разрядить гнев, их убивали. Зачастую две эти надобности совмещались, правители присваивали крупную собственность, рядовые погромщики довольствовались мелочью и насилием. Но это же привело к естественному, с точки зрения наследственности, явле-

нию — евреи совершенствовались жить в тяжелых условиях. Революция, казалось бы, изменила положение. Была ликвидирована унижительная «черта оседлости», образована Еврейская АО. В составе правительства были Я. Свердлов, Л. Троцкий (пример как положительных, так и отрицательных черт) и другие. После революции работала комиссия по борьбе с антисемитизмом. Казалось бы, все наладилось. В годы войны, несмотря на гнусные слухи, евреи проявили себя не хуже других — например, Цезарь Куников (увы, и Лев Мехлис); более того (как отмечалось в журнале «Москва», 1983, № 12), в процентном отношении по числу Героев Советского Союза евреи занимают первое место! (Темные антисемиты напрасно пытаются отрицать это, более умные, не борясь с неопровержимыми цифрами, комментируют так: «Им нечего было терять — в плен их не брали.») Жесточайшее преследование и уничтожение евреев гитлеровцами (6 млн жертв) способствовали падению в СССР антисемитизма, впрямую идентифицировавшегося как фашизм (каковым он, в общем, и является). Но в то же время часть евреев Европы переселилась в Палестину, после войны было создано государство Израиль, появился ряд новых проблем, порожденных решением давнего вопроса о еврейском государстве. Многие, особенно в СССР, сделали выбор между национально-религиозным и патриотическим чувством в пользу последнего. А само государство Израиль, к сожалению, показало, что память людей коротка, а народов — еще короче. Не вдаваясь в причины и подробности вражды, тянущейся с библейских времен (палестинцы — те же филистимляне), отметим, что обе стороны проявили себя не лучшим образом. А это, естественно, еще один формальный повод для неприязни. Однако уже в конце 40-х — начале 50-х годов возникла «борьба с космополитизмом», где народы «без корней» оказались естественными мишенями; далее — «дело врачей». Но после смерти Сталина обстановка изменилась, вздорные обвинения в «крови христианских младенцев» отпали, как в пресловутом дореволюционном «деле Бейлиса», но не забылись. И в душном климате застоя старые предрас-

судки оживились и пошли в рост. Все помнят массовую волну отъезда в начале 70-х. Что же произошло? Во-первых, действовала политическая обстановка — встал вопрос о сионизме, а для людей малокомпетентных между понятием «еврей» и «сионист» стоял знак равенства. Во-вторых, народ этот с его печальным историческим опытом имел все основания для опасений, и многие решили не ждать, будут погромы или нет. Началась раскочка маятника: антисемитизм никогда, и в худшие годы, не был и не мог быть государственной политикой СССР, но возник «функциональный» бюрократический антисемитизм. Осторожные бюрократы опасались принимать евреев на ответственную работу — а вдруг уедут, придется отвечать за «недосмотр». Продвижение их на избранном поприще тормозилось из тех же соображений, иногда даже их пытались выжить любыми средствами. Оживилась «чернь» всех видов — особенно в науке и искусстве так соблазнительно разыграть против талантливого конкурента потайную черную карту. (Недаром А. Миронов, позже — Г. Каспаров и многие другие предпочли носить фамилию матери, а не отца.) Такое положение вызвало разочарование, обиду и старые опасения. На многие годы «еврейский вопрос» стал нашим больным местом. После XXVII съезда положение улучшилось, хотя «скрытые антисемиты» есть на разных еще постах, не говоря об экстремистах «Памяти». И вот парадокс — облегчение условий выезда не только не вызвало большой волны, наоборот — многие, ранее подававшие заявления в ОВИР, забрали их обратно. Добрый знак — люди поверили. Увы, многого уже не исправить...

Еще задолго до перестройки прекрасный поэт Слуцкий написал следующие строки:

Люблю антисемитов, задарма
Дающих мне бесплатные уроки,
Указывающих мне мои пороки...

Таково было и остается грустно-ироничное мнение тех, кто не отождествил негодяев, бюрократов и темных, неразвитых людей со страной и народом. Большинство из них не пожалело о выборе.

ДЕЛА НАЗРЕВШИЕ И ОТЛОЖЕННЫЕ

Национализм в царской России, имевшей основания именоваться «тюрьмой народов», всегда был удобен для правительства. Нагнетался тот охотничий «патриотизм», который Лев Толстой характеризовал как «последнее прибежище негодяя». «Так поступает теперь правительство, натравливая татар на армян в Баку, пытаясь организовать новые еврейские погромы, организуя черные сотни, взывая к верноподданым дворянам и к консервативным элементам крестьянства» (В. И. Ленин, т. 9, с. 333). Как видим, причины многих предрассудков уходят корнями в историю. И слишком поспешное «решение» подобных вопросов И. В. Сталиным не способствовало их ликвидации. Некоторые же проблемы — например, в Якутии — порождение неверной социально-экономической политики новых времен, в основном периода застоя. Не все татары хотят вернуться в Крым, да и немцы из бывших поволжских если и переселялись, то в основном в Западную Германию. Несправедливо переселенные кавказцы вернулись после разоблачения культа личности Сталина; те, кто остался в живых из сосланных молдаван, жителей Прибалтики, также вернулись на родину. Однако происшедшее с ними, естественно, оставило свой след. И реально накопившееся недовольство выплеснулось, как только спало давление. Зачастую оно принимало страшные формы, как в Сумгаите. Что поделать, диалектика жизни такова, что возможность самовыражения используется не только конструктивно. Сыграли свою роль и ограниченность, и общее падение нравственности (о котором хорошо сказал М. Антонов в статье «Так что же с нами происходит?» — «Октябрь», 1987, № 3), и корыстные устремления некоторых «лидеров», желавших показать себя. Также весьма симптоматично, что первым воспользовалось демократизацией пресловутое общество «Память». (Интересно, что первой русской конституцией после революции 1905 года также прежде всего воспользовались «Союз Русского Народа», «Союз Михаила Архангела» и тому подобные.) Много писем весьма черносотенного содержания, пришедших зачастую от людей с учеными степенями, под-

твердили, как глубоко проникла легенда о «жидомасонах», казалось бы давно разоблаченная как злобная и некомпетентная подделка. Почему же национализм и ксенофобия, казалось бы давно изжитые, оказались столь сильны?

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Передовые страны, Швейцария, Бельгия, Норвегия и др., дают нам образец того, как мирно уживаются вместе или мирно отделяются друг от друга свободные нации при действительном демократическом строе.

В. И. Ленин, т. 23, с. 149

По мере социальной эволюции были осознаны понятия «племя», «народность», «нация»; качественным скачком стало появление государства и чувства патриотизма. Сложилось это патриотическое ощущение из двух основных первопричин — оседлости и восприятия земли и как собственности, и как священной основы, с которой связана и вся жизнь племени и народа, благодатной кормилицы; с другой — необходимостью системы законов для регулирования взаимоотношений, помощи и защиты, то есть государства. Древний Рим дал первый образец строгой системы законов, выдержавших испытание временем. (В основном на принципах римского права базируются все современные юридические системы.) А в новое время первое упоминание о родине как о самоценности встречается в «Слове о полку Игореве». Нам есть чем гордиться. Но не следует забывать и отрицательных сторон эволюции. Так, из чувства стадной принадлежности и защитных рефлексов ксенофобия распространилась и в сферы религии, идеологии, морали. При этом «первословный», биологический национализм не исчез, а еще и укрепился, будучи «аргументирован». Всякий раз, когда ухудшается качество жизни, слабеют мораль и нравственность — короче, происходит социальный регресс — из темных глубин всплывает ксенофобия, как инфекция, нападающая лишь на ослабленный организм. Психологические источники ясны — при ухудшении качества жизни, когда

социально значимые массы людей находятся в состоянии перманентной неудовлетворенности, напряженности, когда распространялась фрустрация, множество людей начинали искать причину бед. Однако для определения истинных причин необходим определенный уровень социальной компетентности, культуры, знаний. А если общая культура и демократичность неразвиты, человек ищет уже не столько реальную причину, сколько возможность получить психологическую компенсацию, «сорвать злость». Для этого надо найти подходящий объект. В качестве сиюминутного «громоотвода» может послужить подчиненный, сосед в автобусе, член семьи. Но необходимо и нечто более основательное, «стратегическое», тем более что злоупотребление сиюминутными вариантами грозит еще более разрушить и ухудшить психологическую атмосферу вокруг индивида, его «микросоциум». Нужен однозначно идентифицируемый объект для разрядки. Нужно иметь признаки, определяющие «врага», «чужого» или, как говорят психологи, «члена аут-группы». И здесь нет ничего надежнее признака расового или национального. Самый последний неудачник и пьяница, злобный и никчемный человек, одержимый комплексами, все же чувствует себя выше «ниггера», «жида» или «неверного». Первые два статуса (раса и нация) характерны тем, что, во-первых, даны от рождения и не требуют для обретения ни усилий, ни способностей; в силу тех же причин они и неустранимы — как бы ни был умен, морален, талантлив «чужой», он все равно «сделан из худшего материала». Большое искушение для негодаев, что отмечал и Лев Толстой. Очень удобно сваливать на «простоки врагов» все беды, вымещать на них зло, обирать и унижать. Почти не осталось государств, открыто проводящих расистскую политику (ЮАР, например), но и предрассудки еще сильны. В нашей стране существуют законы, запрещающие национальную и расовую дискриминацию; предусмотрены санкции за разжигание национальной розни, оскорбление национального достоинства. (Наблюдать последнее приходилось, но не знаю ни одного случая применения закона.) Тем не менее до сих пор в ряде документов,

начиная с паспорта, указан пункт «национальность». Пожилой человек, старый большевик, ветеран двух революций сказал по этому поводу: «При царе мне достаточно было креститься, и я бы числился «православным». А что делать теперь?» Многие шли на различные ухищрения, пытались сменить «неудобную» национальность или, в крайнем случае, фамилию. Невеселый смех вызывает наличие соответствующего пункта в квитанции, по которой получают в крематории прах покойного. Итак, забыть о национальности нам почему-то не дают. Далее — опять же вследствие пережитков и привычек люди редко общаются длительное время с представителями других народов (имеются в виду не случайности, не контакты с отдельными людьми, а с народами как таковыми, с его живыми нравами и обычаями. Мешает хотя бы та же система паспортов и прописок). В результате в РСФСР, скажем, считают кавказцев спекулянтами, торговцами, хапугами (по отдельным личностям на базарах и в ресторанах, хотя и там большинство честных тружеников). А ведь народы Кавказа — прекрасные люди, честные, надежные, с высокой моралью и достоинством. До сих пор живы скверные сплетни и недобрые анекдоты о евреях и татарах, армянах и туркменах. Подобную преемственность насильственно не прервать, но очевидцы вспоминают, что ни до войны, ни в 50-е годы подобные «хохмы» не были в ходу. Микробы национализма дремали, ожидая своего часа — и, к сожалению, дождались. В ряде республик, вследствие дефицита демократии и гласности, национализм принял свою, особую форму, соответственно старым традициям (вернее назвать их атавизмами). Особо ярко проявились они в Казахстане, где возрос своего рода племенной патернализм раннефеодального толка. В Узбекистане фактически возродилось баяство на новой основе. Однако, что интересно, подобные явления способствовали, хоть и в извращенном виде, сохранению национальных традиций. А извращения в национальном вопросе могут быть вызваны как раздуванием его местными властями в собственных интересах, так и избыточным давлением «из центра». Самое печальное, что сильнее всего пострадал

от застойных извращений русский народ. Именно его исторические памятники разрушали или превращали в склады, именно его история многократно переписывалась и извращалась до полной выхолощенности, над столичными и центральными городами ставились варварские эксперименты. Имея свои, «кособые» каналы снабжения и служебные машины, дачи, пансионаты, чиновники мало беспокоились о состоянии города и жизни горожан. Недаром Москва, увы, один из самых грязных, шумных, неуправляемых городов. При этом образ жизни чиновничьей элиты резко контрастировал с жизнью рядовых граждан, что вызывало усиление напряженности, подтачивало мораль, способствовало развитию и распространению традиционного, но в 20—30-е годы почти побежденного пьянства. Недаром именно в Москве в первую очередь обосновались экстремисты из «Памяти», «люберы», «ремонтники» и прочая шпана с идеино-националистической подкладкой. В период руководства Брежнева (на Западе его язвительно называют «московским царьком», так как он практически утратил управление повсюду, кроме центральных районов) эти тенденции достигли максимума. При этом сами жители Центральной России, отчасти и Белоруссии также воспринимались в других республиках «с перекосом», в основном или как начальники или ревизоры, присланные из Центра, не понимающие местных условий и народа, одержимые комчванством, зачастую хамя и хапуги. Ветеран, бывший военный, всю жизнь прослуживший в Ташкенте и оставшийся там после выхода в отставку, сравнивал в 1981 году ситуацию с довоенной не в пользу современности. Он заметил, что старики до сих пор в основном хорошо относятся к русским, помня освобождение от баев и басмачей; но чем человек моложе — тем вероятнее недоброжелательность. Примерно то же и у нас в Латвии.

И все же республики Прибалтики до сих пор являют наиболее благоприятную картину. (Забегая вперед скажу, что именно высокий уровень человеческой культуры, самоуважения к другим привлекал туда «неформалов», людей Системы. Многие так и остались жить в Латвии и Литве.) Конечно, издержки были и здесь,

люди из России ассоциировались с описанным выше чиновничье-туристским образом или с грубияном-милиционером. Но в целом отношение к тем, кто непривычно выглядит и странно (но не оскорбительно!) себя ведет, было значительно лучше, чем в центральных районах; по контрасту терпимость и достоинство чувствовались особенно сильно. Разумеется, случалось и непонимание, особенно у некоторых молодых, возможно именно такое отношение вызывало среди обывателей (из тех же «туристов») вздорные слухи о якобы «прибалтийском фашизме». За много лет пришлось убедиться, что так называют здоровую национальную гордость. Люди не против любой нации и народности, не чванятся своей, но и не дают свой народ в обиду. (До чего же надо быть ограниченным, лишенным самоуважения, чтобы достоинство народа назвать «фашизмом»! Впрочем, ограниченность и холопство в натуре мещан и обывателей.—А. О.) В начале семидесятых годов предпринимались попытки силовым путем ограничить «самостояние» Прибалтики, что вызвало резкую, негативную реакцию, особенно в Литве. В печати, естественно, не упоминались события в Каунасе, но они не забыты. Сейчас опыт Прибалтийских республик внимательно изучается; но дело не столько в формальных методах, сколько в людях, уважающих себя, друг друга, свое дело и других людей. В прежние годы республики эти редко упоминались в печати, лишь иногда приводились некоторые формальные показатели. Но обстановка говорила сама за себя.

Еще одной причиной ожесточения послужили просчеты и ошибки пропаганды, руководимой Сусловым. С одной стороны, насаждалась характеристика жизни, не соответствующая действительности (дополнительный «перегрев» психики); с другой — всячески подогревалась ненависть к «классовому врагу», хотя этот скомпрометированный термин предпочитали заменять другими — «мировой империализм», «мир капитала» и т. д. Насаждалась нетерпимость к любому инакомыслию, которое приравнивалось к пособничеству врагу и чуть ли не предательству. А ненависть и нетерпимость ищут себе выхода и за неимением близости «клас-

сового врага» разряжаются другими путями. Один из них — национализм, доходящий до шовинизма; «квасной патриотизм», гордившийся даже пьянством («Что русскому здорово, то немцу смерть!»). Априорное присвоение права на истину в последней инстанции отражалось в снисходительном, а то и презрительном отношении к другим народностям. Подобные психологические механизмы, внушаемые лишь в одной сфере (например, идеологической), неизбежно оказывают влияние и на другие, что и происходило в течение многих лет застоя. Необходимость революционных перемен была ясна уже в начале шестидесятых, но все ограничилось половинчатыми хозяйственными мерами, так и не доведенными до конца. В. И. Ленин заметил, что революционная ситуация не означает неизменных изменений — сил у революционеров может не хватить, «тогда общество гниет и гниение это затягивается на десятилетия» (т. 12, с. 366). Добавить здесь нечего.

Именно как судорога застоя всплеснулся националистический (а иногда и «идеологический») экстремизм. Весьма показателен в этом смысле казус «люберов». Первые легкие проявления в 1983—1984 годах; тогда они преследовали «неформалов» и чаще даже не били, а стригли, если те не сопротивлялись. Потом стали и избивать и грабить — на «идейной» основе, в порядке борьбы против «чуждой идеологии металлистов, хиппи, панков и прочих». Милиция относилась к ним с полным взаимопониманием: еще бы, крепкие ребята с комсомольскими значками, часто и с повязками дружинников, «классово свои» — не то что эти «волосатые ублюдки»; воспитывают их своими методами — прекрасно! В 1985—1986 годах число «штурмовиков» стало расти неудержимо. Возможность безнаказанно бить, унижать, издеваться на «идейной» основе развращала все новых и новых. Группы становились все больше, драки все страшнее. Люберецкий исполком и комсомольские организации яростно доказывали, что речь идет о «ребятишках», занимающихся силовой атлетикой и культуризмом, не пьющих и не курящих, помогающих оперотрядам и «идейно зрелых», на которых клеветают сомнительные личности. Тем не менее в «Огоньке»

состоялась пресс-конференция, на которую были приглашены работники МУРа и генерал-майор Гончаров из МВД. Он упорно утверждал, что «люберов» вообще не существует в природе,отреагировав на слово «застой» как на антисоветскую пропаганду (в 1987 году!), но потом вспомнил, что это официальный термин. Многочисленные письма и звонки различных граждан, видевших «люберов» в действии, все же требовали мер. Тем не менее, Гончаров не постеснялся дать «Советской России» интервью, где утверждал, что «люберов» придумали газетчики. Но все же «люберизм» был освещен, уголовные группы немедленно «легли на дно»; перестали появляться дюжие молодцы с удостоверениями дружинников — возник риск компрометации тех, кто выдал эти удостоверения. И лишенный, в общем, безнаказанности, «люберизм» пошел на спад. Все бы хорошо, но... вот журнал «Юность», 1988, № 2. Встреча с подростками в Лыткарино. Цитирую:

«Вы нам лучше русские пойте, наши. Мы здесь все любера. Даешь Лыткарино! — с гонорком бросает курносый белобрысый паренек.

— А за что же вы, любера? Или против кого?

— Против всех этих волосатиков, панков — ходят, как бабы. Противно. (На вопрос «за что» ответа нет — есть только «против»).—А. О.)

— При чем же здесь грузинские и украинские песни?

— Да так,— замылся мальчуган,— русские мы и все тут. . .

Слов не надо в ответ».

Уже год назад пришлось слышать, что «кадровые» люберы выступают от имени «Памяти»... (экстремистского крыла). Комментарии излишни, хотя не исключено, что это лишь рисовка и «Память» не руководит ими. До сих пор мало еще кому известно, что настоящее объединение «Память» — вовсе не группа экстремистски настроенных лиц. Главная задача их — сохранение культурного и исторического наследия, как намечал основатель движения писатель Чивилихин. Во время манифестации на Красной площади в Москве с возложением венков к памятнику Минину и Пожарскому один из лидеров движения художник Игорь Сычев сказал, что хотя экстремистская группа воз-

никла в рядах движения, но не имеет ничего общего с истинной его сутью. Кстати, ни один из экстремистов, добавил он, не принимает участия в восстановлении памятников, церквей и вообще какой-то созидательной деятельности, никто из них не принял участия и в возложении венков. Они борются с мифическими врагами, делают широковещательные заявления, устраивают скандальные вылазки. А в рядах движения — множество людей самой различной национальности, озабоченных судьбой России, есть и татары, и евреи, и многие другие. (Высказывания Сычева и других участников движения были приведены в печати, в том числе и партийной — вестник АПН «Глобус» № 50 от 11 декабря 1987 года.) Но заметны не те, кто спокойно делает свое дело, а наиболее шумные. И последнее: в почетные члены общества был принят сын знаменитого певца Шалапина, посетивший недавно домик своего отца в Москве, превращенный в музей. В восстановлении домика и устройстве музея общество приняло самое активное участие. Сын Шалапина счел за честь быть почетным членом общества, занимающегося столь важным делом, и высоко его оценил.

Еще встречаются «истинные патриоты»-агитаторы среди молодежи на окраинах и в поселках, призывающие к жестокой борьбе с «инородцами», жаждущими погубить Россию, и обучающие адептов пользоваться для отстаивания своих убеждений кастетами и тому подобным. Но, как говорили древние римляне, злоупотребление чем-то не есть аргумент против его существования. Можно только приветствовать желание восстанавливать историю народа и ее памятники. Не надо пугаться конструктивного национального движения, и нетрудно отличить его от другого. Еще в Священном писании сказано, что увидеть истинную веру можно по делам. Так и будем судить по ним!

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП

В те времена, когда общепринятые нравственные ценности девальвируются, развивается двойная и тройная мораль, усиливается потребность в поиске. У националистических концепций есть то преимущество, что они ба-

зируются на чем-то основополагающем, на «земле и крови», что не подвержено идеологическим и «курсовым» конъюнктурам и не может быть отменено или опровергнуто. К тому же, в силу активности чувств, экстремализма (то есть крайностям не столько в действиях, сколько в эмоциях и мышлении), молодые очень легко подхватывают определенные идеи, кажущиеся им доброкачественными, особенно при умелой их пропаганде. В основе же всегда лежат реалии жизни — например, в Москве и Ленинграде развивалась неприязнь к «лимитчикам», которые якобы отнимают у коренных жителей места и на работе, и в общежитиях, и в магазинных очередях. Если же определенная группа таких приезжих — из национальной республики, то легко возникают и националистические аргументы. Именно молодежь, более горячая и не имеющая жизненного опыта, аккуратности и терпимости, становится естественной «ударной силой». События в Сумгаите начались с того, что некие лица (оценку им даст следствие) ходили по самым неблагоустроенным общежитиям и призывали подростков к активным действиям. Результаты хорошо известны... В Москве, в районе Печатники, 20 февраля 1988 года произошла большая драка (около 500 участников) между обитателями общежития АЗЛК (в основном из Средней Азии) и местными жителями, в том числе и «лимитчиками» из других районов. А главной причиной было то, что «иноплеменников» вселили в переполненные и неблагоустроенные общежития, что вызывало постоянные конфликты и взаимную неприязнь. В результате — побоище с применением каскетов, арматурных прутьев, ножей. Итог и реальных жизненных несообразностей, и низкой культуры, морального несовершенства, духовной неразвитости ребят, одни из которых получили увечья, а другие попадут под суд.

Но жизнь показывает нам и совершенно противоположные примеры. Все без исключения группы и объединения, основанные не на совместной вражде, а на созидательных, одухотворенных концепциях, практически лишены каких-либо национальных предрассудков. Яркий пример показывают группы «Община», «Гражданское достоинство», Федерация Общего Дела.

Даже в их программах и воззваниях одним из первых пунктов значится: нет — национализму. В основном эти группы (за исключением Федерации) состоят из молодых людей самых различных национальностей, при этом в них не бывает проявлений розни. Совместная полезная деятельность, духовное самосовершенствование и взаимоподдержка совершенно исключают подобные страсти. Самым ярким примером может послужить Система — широкое, демократичнейшее объединение молодежи, в основном принявшей принципы движения хиппи. В нее входят ребята практически всех наций и рас Союза (например, есть даже мулаты и корейцы). Тем не менее чувство чисто человеческой общности и единства превалирует над всем остальным. И никакие агитаторы за местный национализм не нашли среди «системных» отклика. Они помнят свой народ, не лишены национальных чувств, но никогда не обратят эти чувства во зло. Этому способствует образ жизни: «системные» постоянно путешествуют по стране, общаются с самыми разными народностями, и убеждаются, что бывают плохие люди, но нет плохих наций; что у каждого народа — свои обычаи и особенности, которые можно трактовать по-разному, но они не противоречат друг другу; что непонимание и неприязнь возникают именно оттого, что люди не общаются, знают друг о друге часто по слухам, а слухи эти не всегда достоверны доверия. Людям Системы известно, что есть районы, где к ним могут отнестись плохо — но это результат именно местного национализма недостаточного культурных людей. С другой стороны — есть и «культурные регионы». Например, Прибалтика изначально считалась «второй родиной» хиппи, а сейчас и некоторых других (постпанков, например). Случались, конечно, и непонимание и конфликты, но по сравнению с центральными районами они имели «исчезающе малые» масштабы. И вот что удивительно — часть «люберов», тоже предпринявших летние путешествия в 1986—1987 годах, изменила свое поведение, а отдельные лица вообще ушли в другие движения. Еще одно доказательство, что хулиганский национализм — явление, в общем, наносное, и сама

жизнь нередко убеждает ребят в его недоброкачественности.

Итак, можно сделать вывод: никаких общих, серьезных, глобальных причин для националистических вспышек нет. В основе их всегда лежат социально-экономические причины и недостатки в воспитании людей, причем обычно эти два корня взаимосвязаны. При налаживании жизни, исправлении перекосов в социально-экономической и демографической политике, а особенно — в учебном и воспитательном процессе такие вспышки отойдут в прошлое, основа для них исчезнет. Ведь еще Ленин отмечал, что национализм малых наций в многонациональном государстве обычно лишь следствие, ответ на шовинизм больших. А шовинизм тоже возникает как следствие снижения качества жизни. Молодежь гораздо менее заражена такими предрассудками, и можно быть уверенным за наше будущее. Мы — люди, и пойдем друг друга.

Эта статья была уже закончена, когда автору довелось прочесть литературно-критическую статью «Гринев» Ольги Чайковской, которая хорошо известна как прекрасный публицист («Новый мир», 1987, № 3). И хотя тема ее, казалось бы, далека от рассматриваемых проблем, не могу не привести мнение литератора:

«Из всех видов ненависти наиболее ядовитая, я думаю, национальная... человек, у которого нет ни таланта, ни профессионализма, ни образования, ни обаяния, начинает как на достоинство жать на единственное, что у него есть, — на свою социальную, национальную или профессиональную принадлежность. И еще замечено: чем ниже уровень духовного развития, тем сильнее ненависть...»

... Уменьшать количество зла в мире — вот задача любого из нас... там, где любовь к своему переходит в ненависть к чужому, там вообще кончается литература». И человечность, и жизнь тоже, — добавлю от себя. Молодежь обнадеживает, но не все так еще гладко, и тот истинно русский патриот-бюрократ еще силен. Не так давно мне пришлось прослушать диктофонную запись, сделанную в административной комиссии Ленинского района города Москвы. Сделал ее мой

друг Аркадий, который имеет привычку в таких случаях фиксировать сказанное, чтобы избежать недоразумений впоследствии. Один из членов этой комиссии (молодой офицер милиции, по описанию — светловолосый, чуть курносый, со светлыми злыми глазами), по ошибке приняв пришедшего за участника демонстрации «отказников», произнес в его адрес небольшую речь. Суть ее ясна из цитируемых слов: «Всех этих евреев (он сказал грубее.— А. О.) надо загнать за Полярный круг и там выжечь из них еврейство!» Подумав, он рекомендовал то же средство в отношении крымских татар. Один из членов комиссии, почтенный старичок с медалью за тридцатилетний труд, продолжил тему, упомянув русский хлеб и сало, «которое они жрали», а отплатили неблагодарностью. (Надо отметить, что ни правоверные евреи, ни мусульмане сала не едят. Дело, конечно, не в нем, а в совершенном незнании этих народов.) Несколько удивленный визитер сообщил, что он вообще-то уезжать не собирается, в ответ на что его снисходительно назвали «полезным евреем». Надо ли напоминать, что этот термин не нов — его изобрел Гитлер? Председатель комиссии в это время смотрел в бумагу и не высказывался. А ведь он скорее всего член партии. Но тот, кто сказал подобное, представляет, во-первых, Советскую власть, во-вторых, власть исполнительную — милицию. И может уверенно произносить такое вслух не на улице — в исполкоме столицы СССР! Да, еще много ошибок придется исправлять, живы предрассудки и заблуждения у людей и не случайных — облеченных властью или имеющих научные звания. (Для справки: произошло это 16 ноября 1987 года; фамилии «выступавших» узнать не удалось.)

Нам всем предстоит большая работа по уменьшению зла в стране и в мире, каждому — на своем месте. И надо хорошо понимать трудности предстоящего, не пугаться тяжелых случаев, но и не относиться к ним пренебрежительно. Национальная рознь и ненависть — опасная, злая сила, но она обречена на исчезновение.

«БЕСЫ» НАШЕГО ВРЕМЕНИ

. . . при обращении к массовой аудитории доказательства легко заменяются интонационным напором, безапелляционностью и, главное, методичностью как в истреблении одних . . . репутаций . . . так и в насаждении других.

С Чупринин. критик

Бывают, я думаю, сочинения, с которыми нет смысла спорить: достаточно показать читателю то-вар лицом. Иногда это лицо страшноватое, иногда — смешное, но предмета для полемики в таких случаях нет, ибо — не предусмотрен

С Рассадин, литературовед

I

Последние строки эпитафии, взятые из статьи С. Рассадина «Все поделить?» («Огонек», 1988, № 20), откровенно говоря, вызвали приступ минутной слабости. Может, и в самом деле «предмета для полемики нет»? Может, в самом деле предоставить все естественному ходу событий, веруя в мудрость жизни, которая в конечном итоге уничтожает, стирает все гнусное, уродливое, неестественное? Но, боюсь, в данном случае критик ошибался, ибо если эволюционный процесс и в самом деле уничтожил всех нежизнеспособных мутантов, то события общественной жизни, рожденные, создаваемые и поддерживаемые человеком, могут оказывать огромное, часто даже не предугадываемое во всей своей зловещей силе, влияние на жизнь общества — достаточно вспомнить историю фашизма, при зарождении которого в мюнхенских пивных многие, даже блестящие умы относились к нему со снисходительной иронией . . .

В канун нового 1987 года Ригу посетили несколько ведущих представителей общества «Память», среди которых были ее номинальный руководитель Ким Андреев, ее штатный оратор Д. Васильев и некоторые другие. Они выступали на очередном заседании народного университета культуры клуба «Октобрис» — и, судя по реакции аудитории, выступления их встретили одобрение и поддержку, тем более что Д. Васильев проникновенно апеллировал к национальным чувствам латышского народа, с болью упоминая о том, что пару десятков лет назад в Латвии

было не менее 10 сортов колбас. Сейчас их нет. Нет их и в Москве. Где она? Где то, другое, третье? Кто тому виной? Впрочем, не будем забегать вперед. О вине мы поговорим — так, как ее понимает «Память». Сначала несколько слов об этом образовании, отношении к которому не имеет права быть однозначным.

Репутацию оно себе заслужило, что и говорить, недобрую — и оттенки ее прослеживаются совершенно отчетливо: от светло-охряного до густо-коричневого. Ведь главное, как считает «Память», вот в чем: сионизм перешел в открытое наступление на патриотический фронт!

На примере «Памяти» (опять-таки — с ее точки зрения) видно, как шельмуется перестройка, попирается демократия. «Посылая 30 телеграмм в центральные органы власти, мы надеялись, что найдутся честные и порядочные люди, способные отличить черное от белого, Добро от Зла, и, несмотря на предвзятость мнений, предоставят нам возможность публично ответить на ложь в прессе, высказать свои истинные позиции и цели. Однако этого не произошло. Кампания клеветы, с угрозой политического террора, усиливается и может иметь необратимые последствия».

В меру сил и возможностей в этом материале мы постараемся удовлетворить пожелание «Памяти», приводя обширные цитаты из ее же работ, из которых станут ясны ее истинные позиции и цели. Но предварительно еще несколько слов.

«Память», насколько можно себе представить, — общество неоднород-

ное, и цели, которые оно ставит перед собой, тоже далеко не однозначны. Так, например, любой гражданин нашей страны, несмотря на свою национальную принадлежность, может только приветствовать стремление «Памяти» к сохранению русских национальных святынь, включая и религиозные; он разделяет ее боль по поводу бед и страданий, обрушившихся на русский народ (если даже забыть, что так же страдали все более ста национальностей, населяющих страну); ему понятна гордость «Памяти» за русский народ, столько сделавший — и это уж не нуждается ни в каких доказательствах — и для страны и для мира. И осталось бы только стремление «Памяти» понять, что же произошло со страной, с русским народом, предложить свои пути выхода из ситуации, ввести свой посильный вклад в работу, в которую, образно говоря, впряглась вся страна, если бы... если бы «Памяти» и некоторым ее лидерам уже не было все ясно и понятно и, единственное, что, по ее мнению, остается — это долбить, вбить в головы всем еще непонимающим и сомневающимся, откуда надвигается на нас грозная, страшная опасность, до победы которой осталось всего лишь менее 12 лет, — это жидомасонский заговор, который подобно удаву вот уже сотни лет душит человечество, это гидра сионизма, сгребаящая к себе слитки золота и души людей, это всемирный заговор сионских мудрецов... Нет, иронии тут нет места. Это лексика «Памяти» — почти дословная.

Не будем бояться сомнений — она уже знакома нам. Это «Майн кампф». Это «Миф XX века» нацистского идеолога Розенберга. Это переводницы «Штюрмера», издатель которого Ю. Штрейхер был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Это речи Геббельса.

Мне довелось слышать выступления Д. Васильева. Медленно, словно подбирая слова, он начинает беседовать с аудиторией. У него нет ни слов-паразитов, ни лишних слов. Темп речи все убыстряется, доводы приобретают всеокрушающую силу нерассуждающей веры, они наэлектризовывают аудиторию до истерической готовности идти за оратором на любые баррикады, бить, уничтожать и жечь кого и что угодно — масонов, врагов перестройки, сионистов — «дорогие соотечест-

венники! братья и сестры всех наций!..».

Точно так же говорил и Гитлер — об этом вспоминают все, слышавшие его. Он обращался не к рассудку и разуму, а к тем эмоциям, которые превращают людей в толпу, а толпу — в стадо.

II

... Рига — город пестрый и многоцветный, у него более чем 800-летняя история, трагическая, экзотическая, героическая. Какие только флаги не развевались над рижскими башнями! Можно только изумляться жизнеспособности небольшого латышского народа, который прошел через все исторические испытания и состоялся — со своим национальным характером, со своей национальной культурой.

Из всех же «двунадесятых языков» в нашей республике на сегодня — семь: латыши, русские, белорусы, украинцы, поляки, литовцы, евреи. Количество каждой национальности колеблется от 1344 тысяч латышей до 28 тысяч евреев.

16-летние граждане в нашей республике 5-ю графу в паспорте иногда заполняют произвольно. Порой это нелегко. Отец русский, но мать его была полька. Одна бабушка — латышка, а дед ее был немец... И со сцены поет Родриго Фоминс, рождаются симфонии Яниса Ивановса, у украинского мальчика, студента Латвийской академии художеств, славянские мотивы в миниатюрах одеваются в мягкие коричневато-золотистые краски латышской живописной традиции, а Соломон Гиллер создает всемирную славу латвийской химической школе.

Маргинальные регионы — далеко не редкое явление во всемирной истории и географии. Если в них долго не бывает войн и решены общие экономические проблемы, если присутствующие в них нации перестают предъявлять друг другу векселя и счета (не могут нести на себе историческую вину люди, выросшие в одной песочнице двуязычного детского сада!), то на почве многонационального синтеза культур можно достигнуть вершин человеческого духа, рождая гениальных ученых и создавая шедевры мирового искусства, окруженные оригинальнейшими сочетаниями национальных традиций.

Сегодня мы можем спокойно и уверенно сказать, что Рижский ТЮЗ считается одним из лучших ТЮЗов страны. А аплодировали этому театру не только в Советском Союзе. Во время гастролей лицо театра — его афиша, веселая, красивая и умная. Есть такая выездная и у нашего ТЮЗа, большой сводный театралный «orbis terrarum», выполненный художником В. Ковальчуком (смотрите репродукцию).

Чтобы понять ее, достаточно быть человеком без предубеждений, знать репертуар театра, с интересом относиться к общеевропейской культуре, не предпочитая одно знание другому. Но... на гастролях в Свердловске и афиша и присутствие театра в городе были восприняты некоторыми с неожиданной агрессивностью. Некий научный сотрудник Б. Пинаев пишет в редакцию молодежных передач: «Можно вовсе не говорить о самих спектаклях, достаточно рассмотреть сводную афишу театра. Если ее расшифровать, то станут гораздо яснее идеи, которыми воодушевлены некоторые наши рок-ансамбли. Афиша представляет собой иносказательное целое, которое сравнительно легко расшифровывается человеком, знакомым с иудаизмом. Ключ к афише — фигуры Адама и Евы, сообщающие зрителю, что речь идет о ветхозаветной символике. Они расположены на фоне облака, из которого появляется рука бога Иеговы с мечом, поражающим змея. На божественном мече начертана надпись «15 лет Чукоккала» — это один из спектаклей, рекламируемых афишей. Но в системе иносказательных образов афиши «Чукоккала» — это и есть змей Левиафан, пронзенный иудейским мечом. Таким образом, афиша нам сообщает, что жить этому змею осталось всего 15 лет до 2000 года... Иудейский меч растворяется в фигуре тупого русского мужичка с топором и дубиной. Учитывая данное обстоятельство, мы должны понимать, что это и есть змей Левиафан (он же Чукоккала), только в человеческом облике. Змей Левиафан, по мысли авторов афиши, — это наш народ, представляющий собой якобы начало хаотическое и темное в противоположность светлому богу Иегове.

Кто же заинтересован в том, чтобы посетить межнациональную рознь? Кто это так высокомерен и шовинистичен? Уж не сионисты ли наши доморощенные рекламируют свои идеи насчет

богоизбранности одного народа и тупой отсталости всех остальных?»

Вот такая простенькая дешифровка. Потом Пинаев ссылается на В. Соловьева, С. Трубецкого, на Каббалу, обвиняя афишу театра в сионистском звучании. Автор афиши В. Ковальчук мог бы сказать: «Дивны дела твои, господи!», узнав о себе, что он сионист.

Никто не отрицает достоинств русского философа Владимира Соловьева, имевшего влияние на многие яркие умы XIX века. Никто не вычеркивает из истории русской культуры философа его круга С. Трубецкого. Но что предположительно ищет Б. Пинаев и подобные ему люди в работах русского мистика? Его мечту о «богочеловеческом братстве во всей вселенной» или «на когда евреи конец света назначили?»

Увлеченные люди видят обычно мир сквозь призму своих увлечений. Одни, которые сумасшедшие театралы, опознают в «В. В. 99%» — Брехта, другие читают В. В. как «Бнай Брит» и смотрятся в кривое зеркало Каббалы, магии чисел, там дальше — антропософия, Штейнер, Блаватская.

Да, существуют сионизм, шовинизм, «местный» национализм. Существуют национальные проблемы, которые должны быть в процессе перестройки разрешены. Но ведь они должны быть разрешены объединением общих усилий, когда будут уничтожены границы национальной узости и национальных предрассудков.

Так кто же пытается посеять межнациональную рознь: научный сотрудник Б. Пинаев или режиссер ТЮЗа А. Шапиро, поставивший чеховскую «Чайку» в Финляндии и мечтающий увидеть гайдаровского «Бумбараша» на никарагуанской сцене?

Можно было бы написать sacramентальную фразу типа «ответ и так достаточно ясен», тем более что выступлению Б. Пинаева уже уделялось место в центральной печати, но давайте будем вести дискуссию (да, именно так приходится называть разговор на тему, которая, казалось, давно исчерпала себя) так, как того требуют современные условия гласности и демократизации — предоставляя слово оппоненту.

III

Надо уточнить, что лидерам «Памяти» не откажешь в известной тактической ловкости. Едва ли не в каждом

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВЫЙ ВАРИАНТ СТАРОГО
ДРЕВНЕГО ИГРЫ НА СЕВЕР. ОНА
НАЗЫВАЕТСЯ «ВОЙНА СЕЗОНА».
НЕМНОГО ПОЛОМАЯ ГОЛОВУ, ВЫ С ПРИНТЫМ
НЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИТЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ (НАДЕЖНО) СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ (МАЖ УБЕРЕНИ) НОВИЧКАХ
ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА
В ТЕАТРЕ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.



SIENĪJAMIE SKATĪTĀJ!

PIEDĀVAJAM JUMS ŽENAS BĒRĪHODĪNĀ SPĒLE
JAUNU VARIANTU, SOBĒRIS TŌ NOSAUCĀM
«ARKĀBĒ SEZONĀ». MAZĒĻIĒ PALAUZIĒJUSI GALVĀ
JŪS APLĀCĪTĀMĀS JŪSĀM PĀRĪHĒJĀTĀS UZBŪVĪ
ATAADĪTĒS VĪRĒJĀS (SĒRĒS) ŽĪBAS PĀR TOŠĒSĒNTĪS
PĒRĒJĀMĒS PĀRĒSĒJĀMĒS JAUNĀTĒS TEĀTRĀ
1985./86. GADĀ SEZONĀ

SEPTEMBRIS СЕНТЯБРЬ

MAIJS МАЙ

APRĪS АПРЕЛЬ

NOVEMBRIS НОЯБРЬ

DECEMBRIS ДЕКАБРЬ

JANVĀRIS ЯНВАРЬ

FEBVĀRIS ФЕВРАЛЬ

MARTS МАРТ

1985./86. SEZONA

80

99%

КОМЕТА ГАПЛЯ

МАРК ТВЕН

ТОМ СОЙЕР

15 ПЛЕТ ЧУКОККАЛЕ

POUKIS

REPERTUĀRS:

REPERTUĀRS:

Teātra galvenais režisors

LPŠR n. b. m. d.

1985. gada sezona

Сводная афиша Рижского ТЮЗа на сезон 1985/86 года

выступлении Д. Васильев клятвенно заверяет, что он ни в коей мере не антисемит, что у него даже есть друзья-евреи (!), наверняка не зная, что это был один из излюбленных методов оправдания нацистских бонз: даже Геринг имел при себе фельд-маршала Мильха, по некоторым данным — полуеврея.

Однако отойдем от исторических параллелей, как бы они ни просились на язык — до них еще дойдет время. Обратимся, в частности, к труду некоего В. Емельянова, созданному в 1985 году, «Предисловие к «Протоколам сионских мудрецов». Его предваряет эпитафия из книги . . . Генри Форда «Международное еврейство», изданной в 1925 году в Берлине: «Рукопись эта — слишком страшная действительность, чтобы быть продуктом фантазии, и обнаруживает слишком глубокое знание тайных пружи жизни, чтобы быть просто обманом».

Автор заранее просит прощения у читателей за обильное цитирование из сочинений «Памяти» (хотя некоторые из них анонимны, но тематика, лексика и без строй доказательств безошибочно выдают их): автору глубоко неприятна практика выдергивания слов и фраз из контекста.

Несколько слов о самих «Протоколах . . .» Они широко известны во всем мире еще с первого десятилетия нашего века — так же как и их опровержения, написанные отнюдь не масонами и сионистами, опровержения, в которых спокойно, без мистики и крикливости, с датами и именами убедительно доказывается их происхождение из недр царской охранки. Однако . . .

«Народы России должны испытывать вечную благодарность за проявленное мужество и высокий патриотический долг истинно русским людям, сумевшим переиграть лютого врага России — сионистско-масонский концерн и добыть из тайных хранилищ главной канцелярии Сиона этот разоблачительный документ, придав его затем широкой огласке . . .

Прочитавшие «Сионские протоколы» (СП) без труда обнаруживают живую связь программы, содержащейся в СП, с реальным развитием социально-политической жизни в нашей стране . . .

В революцию вступили одновременно две силы: пролетариат, руководимый своей большевистской партией с открытой программой и внедрявшая-

ся в нее тайная сионистская и масонская агентура, надевшая на себя личину борцов за социализм, но с первых же шагов революции делавшая все возможное, в соответствии с СП, чтобы . . . понижать эффективность строительства, внедряя под ложными лозунгами идеи с направленностью на изматывание духовных и материальных ресурсов социалистического государства, провоцируя срывы планов социально-экономической жизни . . .

Людей, олицетворяющих эти враждебные силы, в большинстве своем не просто дифференцировать и телерь. Они обычно выступают в двух лицах: официально, с высоких трибун они проповедуют светлые идеи коммунизма, а сойдя с трибун, исподтишка делают все возможное, чтобы приостановить к нему продвижение, маскируя свои действия под «объективные трудности» или изощренным враньем».

Видите, как все просто. В незапамятные времена был задуман план, поработки мира, и в первую очередь России, — и с 1917 года успешно воплощается в жизнь. И никаких причин искать больше не надо. Нигде — ни в разрухе, ни в насильственной коллективизации, ни в голоде начала 30-х годов, ни в тяжелых годах войны, ни в периоде застоя . . . Но как же это делалось, так сказать, технически? У В. Емельянова есть ответ и на это, правда касающийся лишь последних лет, но методика доказательств применима ко всем периодам нашего государства. Не могу не сказать, что строчки, которые вы прочтете ниже, уникальны и с первого прочтения могут не восприниматься. Но что написано пером . . .

«В этой связи истинно советские люди, чтобы быть готовыми противостоять врагу, должны с особой тщательностью анализировать все правительственные и партийные программы, рассчитанные на завершение в 2000 году, т. к. они могут являться удобным прикрытием для проведения отдельных социальных и экономических диверсий, разрушительных для социалистического общества».

Теперь вам понятна дьявольская хитрость сионских мудрецов?

Программа «Жилище-2000», когда через 12 лет каждая советская семья должна иметь отдельную квартиру (надеемся, что так оно и будет) — это все их козни, а всенародное обсужде-

ние партийных и правительственных идей и предложений — это противостояние иудомасонскому заговору, который использует даже «авторитет Академии наук СССР, где сионистско-масонским кланом прочно захвачено господствующее влияние».

Однако вернемся в Ригу, в канун 1987 года, в клуб «Октобрис», который посетили представители общества «Память». Москвичи пришли с лозунгом о новом мышлении. Члены общества обратились к рижанам с новогодним поздравлением, в котором говорилось: «Кто бы ты ни был — академик или рабочий, генерал или крестьянин — Родина требует от тебя быть прежде всего патриотом и гражданином. В противном случае все твои дела бесплодны и вредны». Люди, в полной мере испытавшие на себе канцелярские перипетии борьбы с беззаконием, несправедливостью, бесхозяйственностью, восприняли перестройку как свое кровное дело, а «Память» как свою духовную кафедру.

Какую же позитивную программу предложили москвичи на этом собрании? К каким активным действиям в области перестройки патриотическое объединение «Память» призвало слушателей?

Первый оратор, назвавший себя «рабкором» и ледоколом, таранящим лед жизни, говорил о засилии западной буржуазной культуры на Центральном телевидении, растленно влияющей на наше общество, из-за чего наша национальная культура безвинно гибнет в забвении. Рок-музыка и дискотеки отрицательно влияют на молодежь, и вообще к средствам массовой информации — радио, телевидению, прессе — нужно относиться с осторожностью, поскольку там и сям проявляется сионистская тайнопись.

Д. Васильев начал свое выступление с материалов I съезда сионистов в Базеле. Это академическое вступление не помешало ему говорить о «сионистских вонючках», которые сеют рознь между истинно русскими людьми.

Вообще надо еще раз подчеркнуть, что иметь под рукой «жидомасонов» очень удобно.

«Если троцкисты добились отмены сухого закона и приступили к программе массовой алкоголизации народа, которую уже нынешнее поколение масонской мафии успешно продолжает, то принявшая эстафету банда во главе

с полуевреем Берия и его ближайшим сподвижником Израиловичем организовала и к концу 1938 года завершила чистку Советской Армии, истребив около 85% высшего комсостава с целью подорвать боеспособность армии... Задачей нынешнего поколения сионистско-масонского подполья в Советском Союзе стала дезорганизация, разрушение нашей экономики и блокирование научно-технической революции. В первых рядах этой «диверсии» стоят такие «известные деятели» науки, как академик Аганбегян (в действительности еврей Гофман, по матери — Гольд, масон 27-й степени посвящения...) и масса других».

Стоит ли комментировать эту «информацию» и уровень ее подачи? Приходится, когда коричневые щупальца расплозаются по стране и вот уже и в Риге становится известно, что

— Ленина отравила группа врачей-евреев, которые после этого «срочно и навсегда отбыли за границу»;

— Сталин, здоровье которого «не предвещало угроз», агентами Берия был задушен подушками;

— 27 июня, между 16.00 и 16.30 «сам Жуков во время заседания Политбюро в Кремле застрелил Берия»;

— наш «вялый прогресс» (выражение М. С. Горбачева) объясняется происками сионистско-масонского клана;

— М. С. Горбачев должен понимать всю степень риска для него; любой неверный шаг может стать для него и последним; безвременная кончина Ю. В. Андропова говорит ему о многом.

IV

Каким же было самое первое активное действие объединения «Память»? Как сообщает один из первых документов этой организации, дата рождения объединения «Память» — 4 октября 1985 года, когда на вечере историко-литературного общества «Память» в Доме культуры им. Горбунова впервые были обнаружены документы, характеризующие деятельность сионизма и верно служащего ему масонства. Как выстрел прозвучал вывод — эти международные силы действуют у нас в стране. Они являются одной из причин многих наших бед в Отечестве. Под лозунгом интернационализма насаждают бездуховный космополитизм.

Вот какой была самая первая акция: причиной всех внутренних несчастий объявить внешнего врага. Среди десятков причин экономических, политических, культурных бед нашего государства, замыкающих ряд исторических ошибок последних десятилетий, найти одну — внешнюю, СИОНИЗМ — и объявить его уничтожение панацеей от всех социальных болезней, — примитивно, как в республике Гинденбурга.

Общество «Память» в своих листовках и документах, которые отличаются не столько логической стройностью, сколько эмоциональной насыщенностью, постоянно сталкивает друг с другом некоторые мысли: «Враг тот, кто вопит об антисемитизме, славянофильстве, шовинизме, как только речь заходит о национальной культуре, истории, традициях, исконных обычаях народов!» Но возникает вопрос: какие критерии выработаны объединением «Память» для выявления еврея-сиониста среди евреев-интернационалистов? Объединение «Память» весьма пестро. В нем, как это и бывает в такого рода организациях, существуют разнородные мнения с разными полюсами — от «Жиды и латыши русского царя расстреляли» до «Следует убрать евреев из Московского архитектурного управления и не позволять им заниматься реставрацией русских памятников культуры» и «Членами общества могут стать только «до четвертого колена» славяне».

Одним словом, можно перебрать всю палитру устных и письменных выступлений и нигде не найти, чем же характеризуется еврей-коммунист и интернационалист. И из всего этого вытекает, что критерием сионизма для «Памяти» является 5-я графа в паспорте. Но зато есть конкретное предложение: «Учитывая эти обстоятельства и пока не определелись факторы явного поражения сионистско-масонского мирового концерна, доверять советским евреям очень опасно, в крайнем случае для отдельных представителей оно может быть очень ограниченным. Нельзя допустить, чтобы миллионы жизней советских людей, отданных за счастье нашей Родины, оказались данью во имя торжества иудомасонства».

Сегодня, где-нибудь в 1988 году, две рижанки, выросшие на одних и тех же книжках, окончившие один и тот же вуз, ходят вместе в кино, «стреляют»

друг у друга пятерку до зарплаты, изливают за чашкой кофе друг другу свои сердечные драмы и между прочим выясняют, что их отцы во вторую мировую войну насмерть сражались друг с другом в Курляндском котле или под Волховом, а потом умерли в один и тот же год от инфаркта. И женщины продолжают пить вместе кофе и прослеживают пути, по которым пришлось идти их предкам. Отцов раскусила история. Ни для кого не секрет, что в двадцатом веке одни латыши были красными стрелками, другие легионерами «Остланд», третьи — прошли мучительную историческую центрифугу, чтобы осмыслить свою позицию.

Евреи вошли в Латвию в XVI веке из Речи Посполитой через Курляндское герцогство. Основное занятие народа, не имеющего ни земли, ни политических прав, в средневековом европейском городе — ремесленничество и, как следствие, — торговля и свободные профессии. Позже евреи вписываются в следующие слои капиталистического общества: промышленник, банкир, представитель свободной профессии, мелкий ремесленник, пролетарий. К концу XIX века первые два слоя и часть третьего — склоняются к Теодору Герцлю. Остальные два — к Карлу Марксу.

Члены общества «Память», утверждающие, что сионисты 70 лет разжигали политический террор в стране, какие претензии они могут предъявить коммунистам, репрессированным и погибшим в 1937—1938 годах: Гамарнику Я. Б., Пятницкому И. А., Шацкину Л. А., Рывкину О. П., Якиру И. Э.?

По данным переписи 1935 года, в Латвии проживало 93 470 евреев. В годы второй мировой войны было истреблено 89,5% еврейского населения. И заявления членов общества «Память» в Риге звучат оскорбительно. И не только в Риге. Давайте не забывать, что Гитлер, готовивший печальную судьбу и славянам, и французам, и англичанам, лишь один народ приговорил к полному и безусловному уничтожению — евреев. Погибло шесть миллионов человек. И мать и ребенка у нее на руках прикармливали одной пулей... Но читая сетования «Памяти» на злокозненность иудомасонов, невольно вспоминаешь неонацистские цитаты, что «ничего этого не было» и что даже газовые камеры были позже выстроены, чтобы «ввести

в заблуждение мировую общественность».

Доктор экономических наук Г. Х. Попов высказал мнение о том, что возникновение такой организации, как «Память», является, в частности, наказанием за бюрократизацию Общества охраны памятников и в широком смысле слова является порождением эпохи застоя, а никак не перестройки. «Многие наши недуги были вызваны тоской по активной социальной жизни... и на ней паразитируют разного рода «бесы» нашего времени, жаждущие удовлетворить свое честолюбие, свою корысть, а иногда щегольнуть своей необразованностью и дикостью».

У

Если обратить внимание на известное «Воззвание патристического объединения «Память» к русскому народу, к патриотам всех стран и наций», с многозначительным эпиграфом: «Патриоты всего мира, объединяйтесь!», то нельзя не увидеть, что звучит это воззвание наивно и эклектично.

На первых трех страницах плещется целое море испуга, происшедшего от попытки серьезно осмыслить положение страны на сегодня. И вместо того, чтобы мужественно и рационально предложить какую-то конструктивную программу, — паника, одетая в очень старый интеллигентский вопрос: кто виноват?

«Кто разнузданно попирает Конституцию и Закон?

Кто осквернил нашу историю и культуру?

Кто все это время разваливает экономику, уничтожает сельское хозяйство?

Кто довел до катастрофы экологию страны?

Кто устроил аварию в Чернобыле?

Кто идеологически и алкогольным дурманом уничтожает нацию?

Кто пытается превратить слово «русский» в понятие «враг?»

И опять, и опять перечисляются иррациональные троцкисты, масоны, темные силы в партии, идолопоклонство перед Западом. Крик о том, что ВРАГ «натравливает брата на брата», о том, что кто-то собирается опять проливать невинную кровь, и истерическое требование поголовной уголовной ответственности. А ведь теперь следует задаться не первым, а вторым русским

интеллигентским вопросом: что делать? Закон попирали Лаврентий и Варлаам Аравидзе всех национальностей. Остальное произошло, быть может, в какой-то мере от старой бюрократической традиции, имеющей корни в романовской империи, на которую с упованием оглядываются некоторые члены «Памяти».

Однако что же предлагает делать общество «Память»? На следующих страницах «Воззвания» мы находим общие места, вроде известного уже «мобилизуйте все силы против сионизма», «остановите космополитов», «защитим родной язык», «нельзя мириться с постоянными ошибками в управлении страной», «будьте прокляты все разжигающие войну» (кто же спорит?). А вот конкретное предложение: каждый человек за свою жизнь должен построить дом.

Но ничего же нового не предлагается. Детское, наивное, испуганное бегство от цивилизации, которая одна во всем виновата. Еще ниже читаем известный уже крик о том, что органы информации ежедневно «производят духовную казнь над мыслью и разумом». И дальше — о том, что свободы печати нет ни на Западе, ни на Востоке. Ну нигде ничего нет! Одна массовая культура, сионизм и бездуховность. Только арабы понимают серьезность положения, так как для них сионизм — трагическая реальность, и они, может быть, примут программу «Памяти». Верующим — свободу совести, а атеистическую пропаганду отделить от государства. Потом — две страницы жонглирования словами: «насаждаемый по Руси великой русофобский экстремизм, национальное есть интернациональное, интернациональное есть национальное, националистические выходы провоцируются космополитизмом, национальное — противостоит сионизму, в национальном — форма счастья». Еще, заявляет «Память», враг тот, кто считает, что история нашего государства началась в 1917 году, сбрасывая со счетов исторический опыт народов. «Мы видим, как космополитизм вторгается во все национальное с помощью международного сионистского капитала. Расходуются триллионы долларов на всепоглощающую индустрию человеческих слабостей и страстей. Мир во власти погони за роскошью, удовольствиями, сиюминутными интересами. Мир во власти иллюзии и

обмана. И из этого лабиринта никто не укажет выхода, кроме Памяти и Мудрости народной. Они приведут к спасению — к Природе, к Земле!». «Обретем единство под флагом «Памяти»! «Пусть подвиги наших пращуров, заветы величайших умов Отечества станут верным ориентиром в нашей бескомпромиссной борьбе!». Вот, пожалуй и все, что нам предложило «Воззвание к русскому народу». Дальше идут подписи лидеров. И от всего этого делается грустно.

«Во что превратили великий и могучий русский язык, в какой школе, в какой стране учились все те, кто имеют сегодня публичную трибуну?» — спрашивают культуртрегеры из общества «Память».

Мощь русской культуры определялась и тем, что она ассимилировала византийскую культуру, черпала из нее — античность и наследие латинской культуры. А вот «массовая культура» у нас своя, не купленная. Это здесь «люберы» дерутся с «металлистами» не потому, что они смотрят телевизор, а потому, что плюс к телевизору их не научили читать хорошие книги и не развили их творческие способности. Их породила эпоха застоя, а не западная культура. Может, они все знают живопись Сальвадора Дали, все смотрели фильмы Стэнли Крамера, все слушали музыку Альбана Берга, все читали Фридриха Дюрренматта?

Часто они ничего не читали и не знают ни Запада, ни Востока. Так это «наши проблемы» педагогически запущенных детей, а не проблема «тлетворного влияния западной культуры».

Язык же, прекрасный, великий и могучий, никуда не исчезает. Язык рождается на улице ежедневно, фиксируется профессиональным литератором. Академический филолог может собрать его в словарь. Никакие грамматические инструкции не в состоянии перекрыть на ортодоксальный лад этот живой организм — язык. И русский язык, живущий в 15 республиках (филологи начинают называть его вариантами русского диалекта), так вот этот русский язык тоже будет жить, черпая к тому же краски и логические фигуры из языка соседа, что, впрочем, характерно и для местных языков по отношению к русскому. Процесс этот естественный и бесконечный, несмотря на академические протесты против «латификации» русского и «русифика-

ции» латышского. И Москва, может быть, не сможет выглядеть чисто русским городом, как этого хотят члены «Памяти». Москва — не только столица многонационального государства, но в какой-то мере центр восточной Европы и один из центров мировой культуры — не может не носить на себе печати многоликого, многоязыкого мирового города. И это не должно мешать носить ему златоглавие многовековых куполов соборов, и никто не перечеркнет дыхание вечности на улицах, осененных исторической памятью о великом прошлом русского народа. Реставрировать и беречь свои ценности надо, а не инородцев гнать. На реставрации Рундальского замка вместе с рижскими художниками работают мастера и из Литвы и из Ленинграда. Старую Ригу реставрируют и поляки, и местное архитектурное управление. В начале семидесятых годов из ГДР в Ригу переехал знаменитый архив Курляндского герцогства. О каком космополитизме здесь может идти речь?

«Для возникновения общества «Память» есть глубокие объективные причины, — говорит доктор экономических наук Попов. — Это и демографическая ситуация в России, и состояние Нечерноземья, и масштаб пьянства, и многое, многое другое. За грехи административной системы дорогую цену заплатил русский народ. Судьба народа оказалась столь тяжелой, что многие эмоции участников «Памяти» можно понять». Понять. Но не оправдать. Не поддержать — как нельзя поддерживать любые экстремистские организации, порожденные неосмысленным испугом некоторых социальных групп.

VI

И все же — как относиться к обществу «Память», что с ним делать? Что делать с этим образованием, слова которого — если дать «Памяти» волю — могут вылиться в то, что можно назвать «русским фашизмом»? Будем называть вещи своими именами.

Запрещать его? Да, основания для этого есть — хотя бы за разжигание межнациональной розни, что в нашей стране является государственным преступлением. И все же запрещать «Память», я думаю, ни в коем случае не надо. Стоит только начать запреты...

Прислушаться к ней? Но, простите, к чему, если не говорить об ее отношении к памятникам и о сбережении национальной культуры русского народа (хотя как раз об этом в документах «Памяти» слов меньше всего)? К паническому письму в ЦК КПСС и КГБ о том, что в еженедельнике «7 дней» для Новосибирска в апреле 1985 года наряду с «зашифрованным» сообщением о наступлении еврейской пасхи столь же «зашифрованно» было оповещено о грядущей аварии на Чернобыльской АЭС, с использованием фигурки, «которую можно принять как за неправильной формы шестиконечную звезду, так и за изображение взрыва»?

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а автор просто устал от работы с информацией, которую иначе как бредовой не назовешь, хотя и эти слова так же можно принять за хитрую увертку представителя иудомасонского заговора, который не только «лишает возможности организации массового всенародного отпора внутреннему врагу, но и позволяет ему утвердиться в своей безнаказанности».

И все же, думается мне, иного пути сегодня нет — надо печатать то, что делает и говорит «Память». Имеющий уши да услышит!

Примечание от редакции. Такова позиция автора, и редакция оставила ее в нетронутости, оговорив за собой право на примечание.

Поражает неуязвимость «Памяти». Из сообщений прессы мы узнаем, что в Ленинграде площадка для выступлений была предоставлена ей по некоему звонку из обкома. Невольно закрадывается сомнение — и мы будем только рады, если ошибаемся, — а не обладает ли она могущественной поддержкой «сверху», нет ли влиятельных сил, заинтересованных в ее существовании?

«Не может быть вопроса, — написал М. Горький в 1929 году, — надо ли бороться против антисемита? Но есть два вопроса: достаточно ли усердно борются и как следует бороться?»

Ответ на последний вопрос в определенной мере можно найти с помощью Уголовного кодекса Латвийской ССР: он может быть применен к лицам, выступающим с пропагандой взглядов, о которых шла речь.

«Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды, — гласит статья 69 УК ЛССР, озаглавленная «Нарушение национального и расового равноправия», — или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет».

Народы нашей страны бережно и напряженно сейчас всматриваются в страницы своей истории, перечитывая и переосмысливая ее. В истории Риги была страница, называемая «Ганзейский вольный торговый город», который не прятал своего лица от всех заморских ветров и веяний. Кто, как не средневековый морской купец с большим интересом относился к «чужжанину», к дальним странам, к диковинкам и к диковинным рассказам? И вот так, стоя лицом к лицу с представителями иной культуры, и доброжелательно черпая из нее драгоценности, особенно остро чувствуешь красоту и близость своей собственной, доверительно протягиваемой на ладони своему соседу. Даже когда ты в ответ слышишь едва ли не программный гимн «Памяти»:

Не станем лгать —
Любви особой
Меж нами не было и нет.
В делах истории суровой
Попробуем найти ответ.

Долго искать его не придется. В истории нет места штурмовикам — какого бы цвета рубашки они ни носили . . .

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЕРБЫ ЛАТЫШСКИХ ГОРОДОВ

Еще до нашей эры в некоторых государствах Древнего Востока существовали символические знаки, которые напоминали появившиеся позднее гербы. Никакого определенного порядка по отношению к этим знакам не существовало — их можно было свободно изменять. Создание же гербов как таковых связано с крестовыми походами.

В Западной Европе времен крестовых походов гербы образовывались из знаков, обозначающих принадлежность к определенному роду. Вначале они были тесно связаны с вооружением. В те времена еще не существовало огнестрельного оружия и воины сражались мечами, копьями, стреляли из луков. Использование такого оружия требовало специального облачения сражающихся. С головы до ног они были закованы в латы. Чтобы рыцари могли отличать друг друга, на их щитах стали появляться присущие только данному воину знаки. Позже они стали использоваться, переходя по наследству, всеми членами рода и получили название гербов. В то же время появились и условия создания гербов.

По законам геральдики герб должен состоять из щита, гербовых фигур и различных украшений вокруг щита. Все эти составные части не всегда изображались на гербе; некоторые из них были обязательны, некоторые имели второстепенное значение.

Существовало много форм гербовых щитов; древнейший из них — треугольный. В начале XV столетия появился четырехугольный щит с закругленным краем внизу, так называемый испанский щит. Использовали и т. н. французский щит — четырехугольный с за-

кругленным низом и остроконечным завершением. Напоминал античные образцы щит овальной формы, или так называемый итальянский. Использовали и фигурный — т. н. немецкий щит.

Нередко щит в гербе бывал разделен. Каждая часть щита получала свое название. При делении на три горизонтальные части выделялась верхняя часть, или «голова», средняя, или «бревно», и нижняя, или «стопа». При вертикальном членении выделялись правый бок, левый бок и центральная т. н. свая. Здесь надо отметить, что части герба определялись с точки зрения не зрителя, а рыцаря, который, как предполагалось, находится за щитом. Существовали и другие виды деления щитов. Сколько в нем было частей, столько необходимо было и цветов. После раскраски щита располагали и геральдические фигуры — различных животных и предметы.

Для раскраски щита использовали тинктуры и эмали, которые делились на металлы и краски. Металлы были золото (желтый) и серебро (белый). Цвета — красный, синий, зеленый, черный, пурпурный и естественные цвета предметов. Для каждого цвета в гербе было определено свое графическое обозначение. Необходимо добавить, что было не принято класть металл на металл и цвет на цвет.

Порой геральдические щиты размещали рядом, вставляли герб в середину большего по размеру щита, соединяли вместе два щита.

Вне щита размещали:

1) рыцарские шлемы с украшениями и короны;

2) фигуры, поддерживающие щиты, — часто для них использовали жидельцу, которые изображены на щите; 3) девизы.

Гербы изображались на различных предметах, которые принадлежали владельцу, — на строениях, вооружении, книгах, хозяйственных принадлежностях.

В средние века появились гербы государств и их составных частей — городов, провинций, губерний — и различных корпораций (цехов, гильдий, братств), а также религиозных объединений.

Появление первых городских гербов относится к XIII веку. Во многих случаях в основе городского герба было изображение городской печати. В отличие от печатей гербы городов создавались в течение длительного времени. Печати появились вместе с образованием городов как самостоятельных административных единиц в качестве необходимого атрибута делопроизводства.

В Латвии первые гербы появились в XIII веке. Они принадлежали родам немецких рыцарей (позднее помещикам), цехам, гильдиям и братствам, куршским королям, городам. Гербы были у Курземского герцогства (с XVI века), у Курземской и Видземской губерний (с 1856 года). Старейшим городом в Латвии, которому были присвоены права города, была Рига. Герб ее известен уже с 1225 года. На нем была изображена городская стена с двумя башнями, над ними ключи, скрещенные по образцу андреевского креста; еще выше — крест братства Ордена меченосцев. Стена в гербе символизировала мужество города, его отличие от поселения сельского типа. Крест меченосцев напоминал об участии ордена в строительстве Риги.

В XIV веке в воротах стены на гербе города появился лев, как символ мужества и могущества.

В XVI веке в гербе Риги появились львы, поддерживающие щит.

В 1656 году после героической обороны Риги льву и кресту в гербе города была присвоена корона шведского короля, а в 1723 году место львов, поддерживающих щит, заняли орлы. Но позже львы вернулись на свое место.

В XIII веке права городов в Латвии были присвоены Цесису, Пилтене и Кулдиге.

В гербе Цесиса с самого начала сохранилась городская стена, первоначально

представлявшая собой шесть башенок. С течением времени количество башенок и их высота на гербе менялись. Изменился и цвет геральдического щита.

В 1253 году Пилтене относилось к владениям епископа. Здесь находилась его резиденция, поэтому и в гербе города кроме городских башен изображены и епископские жезлы. Со временем изменилось деление гербового щита, но изображенные на нем предметы остались неизменными.

Герб Кулдиги создавался независимо от городской печати. На печати Кулдиги была изображена патронесса города святая Катрина с повозкой. В начале такое же изображение было и на гербе города. В первых годах XX столетия был утвержден новый герб Кулдиги, щит которого был слева направо наискосок разделен копьём и в каждой половине была рыба. По всей видимости потому, что в те времена Вента была очень богата рыбой.

В XIV столетии права городов получили Валмиера, Айспуте, Вентспилс, Лимбажи.

Самый старый герб Валмиеры известен с 1524 года. На нем изображена липа, с обеих сторон которой — щиты с крестами. Когда в 1622 году Густав Адольф занял Валмиеру, герб изменился — теперь на нем была изображена липа, растущая из лапы вола. В XVIII столетии липа сменилась дубом — символом мужества, самостоятельности, силы, символом борьбы и победы. Но в 1925 году в утвержденном гербе место дуба опять заняла липа.

Старейший герб Лимбажи известен нам по печати 1418 года, где изображен патрон Лимбажи святой Лаврентий, но в XVII веке герб Лимбажи претерпел изменения — на нем появилась стена с башнями и открытыми воротами, в которых красовался лев. В то время город Лимбажи находился в прямом подчинении Риги, и поэтому, возможно, герб так напоминает рижский. В нем же над стеной находятся сложные в виде андреевского креста епископский жезл и крест. Жезл, по всей видимости, появился в гербе потому, что в 1223 году епископ Альберт воздвиг в Лимбажи замок, из которого и вырос город.

В гербе Вентспилса с годами претерпело изменение только членение щита.

В XVI столетии права города получили Бауска, Даугавпилс, Елгава и Валка.

С правой стороны герба Бауски изображен идущий лев с поднятой лапой, и с течением времени этот герб не изменился.

Елгава свой герб получила от герцога Готхарда Кеттлера. В первоначальном варианте в нем был олень, увенчанный короной, но впоследствии корона исчезла.

Городские права были получены Валкой из рук Стефана Батория в 1584 году. Герб города утвержден в 1590 году, и на нем изображена рука рыцаря, закованная в перчатку, с поднятым мечом.

На гербе Даугавпилса — городская стена и лилия, что символизирует красоту и надежду.

XVII век ознаменовался присуждением прав города Яунелгаве, Лиепаяе, Екабпилсу и Гробине.

На гербе Яунелгавы разместились гриф. Это мифическое крылатое животное с туловищем льва и головой орла часто использовали в геральдике, символизируя прозорливость.

Герб городу Гробиня в 1697 году утвердил герцог Казимир. На нем — стоящий на правой ноге журавль; в когтях поднятой левой ноги он держит камень. Журавль в гербе города — символ надежды, порядочности, внимания.

В гербе Екабпилса видна рысь под елью. В геральдике ель, вечнозеленое дерево, символизирует постоянство, верность.

После того как в 1846 году был утвержден герб Лиепаяе, с того времени в нем менялись только цвета.

В XVIII столетии права города получили Резекне, Лудза, Слока, Тукумс.

Из этих городов необходимо отметить Тукумс, в гербе которого — три елочки на пригорке, что говорит об окрестностях города, густо заросших лесом. Этот герб был утвержден в 1846 году.

В XIX веке ни одно поселение Латвии не получило права называться городом.

В 1923 году Латвийская республика издала указ, в соответствии с которым каждый город должен был обладать своим гербом. По тому же указу был создан геральдический комитет, в задачу которого входила проверка существующих гербов и разработка проектов новых. Без утверждения данного комитета нельзя было ни вводить новые

гербы, ни менять существующие. Решения геральдического комитета вступали в силу после их утверждения президентом республики. В его состав входили директор департамента самоуправления, председатель организации, печатающей государственные документы, ректор Академии художеств, директор государственного статистического управления и один член, назначенный президентом государства.

31 октября 1925 года президент республики утвердил решение геральдического комитета о присвоении гербов 39 городам. Часть городов — Бауска, Гробиня, Екабпилс, Лиепаяе, Лимбажи, Пилтене и Тукумс — получили совершенно неизменные свои старые гербы.

Этот решение в большей или меньшей степени изменило гербы Риги, Айзпуре, Цесиса, Даугавпилса, Яунелгавы, Елгавы, Кандавы, Кулдиги, Лудзы, Резекне, Слоки, Талсы, Валки, Валмиеры и Вентспилса. У целого ряда городов гербов не было вообще, и поэтому были созданы совершенно новые гербы городов Айнажи, Алуксне, Добеле, Дурбе, Краславы, Крустпилса, Мазсалаца, Плявиняса, Юрмалы, Сабиле, Салдуса, Салацгривы, Смилтене, Субате и Валдемарпилса.

При разработке гербов некоторых городов подчеркивалось их географическое положение. Например, в гербах приморских городов Айнажи и Салацгривы — якорь, в гербе Юрмалы — море и чайка.

Многие гербы создавались исходя из какого-то конкретного факта истории города. Так, например, книга, которую можно увидеть в гербе Алуксне, связана с личностью алуксненского пастора Э. Глюка, который в XVII веке первым перевел Библию на латышский язык. Валдемарпилс возник на месте древнего рыбацкого поселения на берегу озера Сасмакас, и поэтому на его гербе изображена лодка. В гербе Сабиле — виноградная гроздь: в средние века здесь выращивали виноградную лозу.

В начале XX столетия Дурбе был городом с редкой застройкой, здесь росло много садов и поэтому в гербе — яблоня. В гербе Руиены мы видим мешок с зерном, ибо в те времена окрестности Руиены стали хлебным амбаром Видземского округа.

В наши дни многие элементы гербов сохранились в городских эмблемах.



ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН В КУЛЬТУРЕ XX СТОЛЕТИЯ

Витгенштейн snискал славу самого умного человека в XX веке. Его жизнь — так же как и его философия — была полна загадок и противоречий. Витгенштейн родился 100 лет назад в Вене в семье одного из самых богатых людей этого города, однако в 1918 году, получив наследство, отказался от него, считая, что философ не должен обременять себя имуществом. Трое его братьев в начале века покончили с собой, Витгенштейн же был человеком поразительной стойкости духа и жизнелюбия. Во время первой мировой войны он добровольно служил в армии, во время второй — работал санитаром в английском госпитале. Закончив свое первое и единственное опубликованное при жизни философское произведение — «Логико-философский трактат», он неожиданно перестал заниматься философией, уехал из Вены и несколько лет работал учителем в горной деревне. В середине 20-х годов он переехал в Англию, работал в Тринити-колледже, а затем в Кембриджском университете. Рукопись его поздней книги «Философские исследования» была опубликована после его смерти. Философия позднего Витгенштейна была полностью противо-

положной по отношению к его ранней философии.

Судьба Витгенштейна во многом напоминает судьбу Льва Толстого, творчество которого он хорошо знал и ценил. У обоих ранняя зрелость, отсутствие профессионального образования (Витгенштейн изучал машиноведение и математику в Англии), резкий перелом во взглядах и в жизни, отказ от материального благополучия, скептическое отношение к официальной религии, уход в народ и преподавание элементарных предметов крестьянским детям и в то же время глубинная верность своему основному делу. Так же как и к Толстому, современники и потомки относились к Витгенштейну либо с глубокой любовью и уважением, либо с откровенной неприязнью.

Вена начала XX столетия, где воспитывался Витгенштейн, была в каком-то смысле центром европейской культуры. Здесь жили всемирно известные литераторы Р. М. Рильке, Г. Траэль, Г. фон Гофмансталь, С. Цвейг, Р. Музиль, Ф. Кафка; композиторы Г. Малер, А. Шенберг (основатель нововенской школы, отец музыки XX века) и его ученики А. Веберн и А. Берг; ученые и философы — Л. Больцман, Г. Герц,

Э. Мах, З. Фрейд; основатели венского кружка философии логического позитивизма, коллеги и ученики Витгенштейна — М. Шлик, О. Нейрат, Р. Карнап, Г. Рейхенбах.

Но наибольшее влияние на формирование философской позиции Витгенштейна оказали англичанин Бертран Рассел и немец из Йены Готтлоб Фреге. С этими именами связан переворот в философской мысли на рубеже веков. Рассел — автор работ по основаниям математики, автор оригинальной логико-философской концепции, мыслитель и общественный деятель, во многом символизирующий то лучшее, что было в культуре XX столетия. Фреге — один из создателей математической логики и философской семиотики.

Однако очень быстро Витгенштейн теряет взаимопонимание со своими учителями и становится духовным вождем одного из самых влиятельных направлений в философии XX века — логического позитивизма. Отличительными чертами этого направления было осознание кризиса традиционных метафизических философских проблем и сведение их к проблеме анализа языка философии и науки. Логические позитивисты считали, что традиционные вопросы метафизики — бытия и сознания, свободы и необходимости, добра и зла — возникают из чересчур вольного обращения с языком. Если построить жесткий однозначный логический язык, считали они, то все эти проблемы сами собой исчезнут, а останутся лишь конкретные вопросы изучения природы, разрешаемые естественными науками.

Позиция Витгенштейна была во многом отличной от ортодоксального логического позитивизма. Недаром один из его учеников, наиболее яркий представитель этого направления, Рудольф Карнап отозвался следующим образом о главном философском труде своего учителя: «Его надо прочесть и выбросить», — якобы сказал Карнап. Впрочем, это не было свидетельством однозначно плохого отношения к «Трактату». Более того, скорее это было именно то отношение, к которому призывал своих читателей сам автор: «Мои предложения, — писал он, — поясняются тем, что тот, кто меня понял, в конце концов уяснит их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх). Он

должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир».

ЛФТ представляет собой чрезвычайно противоречивый сплав логики и мистицизма. Это небольшая книжка, каждое предложение которой заиндексировано так, что предложение с более дробным номером является пояснением предложения с более общим. Всего в ЛФТ семь предложений первого порядка, которые можно читать подряд, минуя пояснения. Невероятная конденсация мыслей приводит в ЛФТ к тому, что важным становится не только то, что именно сказано, но и то, что находится между строк (неслучайным оказывается и магическое число семь). Основной мыслью ЛФТ, по-видимому, является следующая: мир состоит из фактов; предложения, отражающие факты по своей логической форме, подобны им; любое предложение поэтому должно логически ясно выражать то, о чем оно говорит, а если это невозможно ясно выразить, то говорить об этом вообще не нужно.

В соответствии с доктриной логического позитивизма Витгенштейн считал, что мир вокруг человека ограничен его языком. «Границы моего мира означают границы моего языка», — писал он. Это значит, что в наиболее явном виде человеку дан в опыте именно язык, все остальные вещи, вплоть до предметов домашнего обихода, воспринимаются человеком через призму языка. Предмет в определенном смысле не существует для нас до тех пор, пока он не назван и мы не знаем, для чего он служит (будь то чайная чашка или обувная щетка). Такой пансемиотизм в целом характерен для начала XX века, когда обжитые представления о вещах во многом исчерпали себя — из физики «исчезла» материя, теория относительности модифицировала представления о пространстве и времени. Возвращаясь к опыту средневековой философии, мыслители вновь стали изучать не само бытие, а то, как оно является сознанию через естественный язык и другие знаковые системы. Поэтому примерно в это же время возникла и структурная лингвистика Ф. де Соссюра и семиотика Ч. Пирса и Ч. Морриса.

Однако для Витгенштейна одинаково важно было и то, что он считал возможным высказать, и то, что остается между строк. Поэтому очень интересна та мистическая часть его учения, о которой он как бы проговаривается мель-

ком. Это в основном идеи, связанные с этикой, которая, по мнению Витгенштейна (см. настоящую публикацию), не может быть высказана, а может быть только показана невозможностью ее высказать. «Мир счастливого по отношению к миру несчастного это совсем другой мир». А человек, осознавший, в чем состоит назначение жизни, не может сказать этого словами. Здесь Витгенштейн расходится с рационалистической линией в европейской философии, корнями которой он питался в позитивной части ЛФТ, — Декарт, Лейбниц, Спиноза, Кант, — и начинает сближаться — через Шопенгауэра («Мир как воля и представление» была первой книгой по философии, которую он прочитал) — с восточными иррационалистскими учениями — даоизмом Лао Цзы и дзен-буддизмом, где учитель на вопрос ученика о смысле жизни отвечает демонстративным молчанием или ударом палкой по голове (осознавая, что слова сами по себе бессильны, мало что могут сделать, он стремится посредством шока перевернуть сознание адепта, чтобы истина озарила его как вспышка света).

Написав ЛФТ с призывом к молчанию в последнем седьмом пункте, Витгенштейн действительно замолчал, тем самым в жизни осуществляя свою философскую программу. Вероятно, это отчасти было реакцией на перенасыщенную в интеллектуальном и эмоциональном плане жизнь в европейской столице. Десятилетнее подвижничество было отчасти и уходом от самого себя и от собственной концепции, той необходимой жизненной терапией, которая позволила Витгенштейну, человеку, сочетавшему в себе хрупкость и мужество, в конечном счете выжить.

О его жизни в 20-е годы ходили легенды. Говорили, что он работал привратником в отеле, построил своей сестре дом в Вене, учил деревенских детишек чтению и арифметике, ругался со своими коллегами, школьными учителями, писавшими на него доносы — за якобы грубое обращение с учениками.

В это время его ЛФТ, изданный в Англии с предисловием Б. Рассела, приносит ему европейскую славу.

В конце 20-х годов в судьбе Витгенштейна происходит второй поворот, он возвращается к занятиям философией, переезжает в Англию и под влиянием английского философа Дж. Мура ради-

кально видоизменяет свою философскую концепцию.

К этому времени в философской и культурной атмосфере Запада многое меняется. Построение идеального логического языка осознается как неосуществимое и теряет актуальность. «Говорить на идеальном языке, — пишет поздний Витгенштейн, — так же невозможно, как ходить по идеально гладкому льду». В своем позднем сочинении, вышедшем после его смерти под названием «Философские исследования», он стремится понять, как устроен простой разговорный язык, который представляется ему огромным городом, где наряду с прямыми широкими проспектами есть узкие кривые переулки. Витгенштейн разрабатывает концепцию языковых игр, считая, что значение слова варьирует в зависимости от того, в каком контексте оно употребляется; «значение — это употребление» — один из наиболее знаменитых афоризмов позднего Витгенштейна (здесь он смыкается с теорией «речевых жанров» русского мыслителя М. М. Бахтина).

С возрастом Витгенштейн все больше теряет свои ранние философские претензии, претензии на универсализм и законность концепции. Он говорит, что человек в каком-то смысле обречен на знание, на борьбу с языком, на то, чтобы принимать на веру некие исходные постулаты, на то, чтобы не сомневаться в чем-то, что с его ранней точки зрения было весьма сомнительным. Продолжая терпеливо вглядываться в язык и, как обычно, почти ни на кого не ссылаясь, он в своих поздних работах осмысливает проблемы, актуальные для современной ему математики (теорема Гёделя о неполноте), физики (соотношение неопределенностей В. Гейзенберга), психологии (фрейдистские и постфрейдистские концепции). Он все более склонен к бытовому аскетизму, все реже показывается на людях. Умирает он от рака в 1951 году.

Слава Витгенштейна возрастает после его смерти, когда ученики, нарушив его запрет, публикуют один за другим конспекты его лекций, записи бесед, замечания по психологии, эстетике, математике, антропологии и просто афоризмы. Витгенштейн становится определяющей фигурой послевоенной культуры и философии. Его два основных труда, ранний и поздний, становятся как бы Ветхим и Новым заветом

современной логики, философски ориентированных семиотики и структурализма, теории речевых актов. В то же время актуальной для культуры становится и сама личность Витгенштейна, которая делается (подобно личности Альберта Швейцара) объектом культурной канонизации. Величие духа и искренность образа мыслей и образа жизни, сочетание позиции человека не от мира сего с трезвостью и глубиной интеллекта — все это сделало Витгенштейна своеобразным культурным героем художественной и интеллектуальной элиты второй половины XX века. О чем бы ни высказывался Витгенштейн, везде он оставлял свой неповторимый след, ибо никто, по его словам, не мог думать за него, как никто не мог за него носить его шляпу. В своих политических воззрениях он был квинтистом, сторонником умеренных и гуманных взглядов. Говорят, что в 1935 году он приезжал в СССР (он довольно хорошо знал русский язык и читал по-русски Толстого и Достоевского). Как философ он был равнодушен к происходящему вокруг, хотя ни в малейшей степени не был конформистом. Он утверждал, что фашизм и мировая война его не интересуют, есть вещи куда более интересные и важные, однако во время второй мировой войны он рабо-

тал санитаром, а не занимался логикой. Он утверждал, что специфические научные проблемы ему чужды, однако при этом сделал ряд острых наблюдений в различных областях знания. Он неодобрительно высказывался о бастующих рабочих, утверждая, что тот, кто все время бунтует, не в состоянии хорошо работать, однако в то же время сам был яростным бунтовщиком против всяческих догм, и против самого себя в первую очередь. Он трунил над религией, утверждая, что христианство — это такая религия, где Бог говорит людям — «не делайте трагедии, не разыгрывайте небес и преисподней у себя на земле, небеса и преисподняя — это мое дело», — и в то же время в философском смысле был человеком глубоко религиозным.

Теперь, когда в СССР при публикации работ западных мыслителей, вероятно, можно будет обходиться без стыдливых упреков по отношению к ним в мелкобуржуазной близорукости и недооценке марксизма, творчество Витгенштейна станет более доступным широкому читателю и более широко изучаемым, залогом чему является выходящий в этом году юбилейный сборник его трудов. Этой же цели служит и предлагаемая ниже публикация.

Вадим РУДНЕВ

ТРУДЫ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА, ИЗДАННЫЕ В СССР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Логико-философский трактат. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
2. О достоверности. — *Вопр. философии*, 1984, № 8, с. 142—149 (фрагменты).
3. Философские исследования. — В кн.: *Новое в зарубежной лингвистике*, вып. 16. Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985, с. 79—128 (фрагмент).
4. Философские сочинения: Избранное. — М.: Прогресс, 1988 (в печати).

Людвиг ВИТГЕНШТЕЙН

Прежде чем я начну говорить о своей теме, позвольте мне сделать несколько вводных замечаний. Я чувствую, что буду испытывать большие трудности, сообщая вам свои мысли, и я думаю, некоторые из этих трудностей можно уменьшить, имея их в виду заранее. Первое, на что я просто

ЛЕКЦИЯ ОБ ЭТИКЕ

не могу не обратить внимания, это то, что английский язык не является моим родным языком, и моим высказываниям поэтому часто будет не хватать точности и остроты, желательных, если говорить на достаточно сложную тему. Все, что я могу сделать, это попросить вас облегчить мою задачу тем, чтобы вы попытались понять меня, несмотря на те ошибки, которые я буду постоянно совершать против английской грамматики. Вторая трудность, на которую я хочу обратить ваше внимание,

Текст лекции опубликован в журнале «The Philosophical Review»; 1965, V. 74, p. 3—11. На русском языке публикуется впервые.

заключается в том, что, возможно, многие из вас пришли на эту мою лекцию с немного неверными ожиданиями. И для того, чтобы оправдать вас в этом пункте, я скажу несколько слов о причине, по которой я выбрал именно тот предмет, который я выбрал: когда ваш прежний секретарь оказал мне честь, попросив меня прочитать доклад вашему обществу¹, моей первой мыслью была та, что я непременно это сделаю, а второй мыслью — что если я хочу иметь возможность говорить с вами, я должен говорить о чем-то, что я очень сильно стремлюсь вам сообщить и что я не хотел бы злоупотреблять² возможностью прочитать вам лекцию, скажем, о логике. Я назвал это злоупотреблением, ибо для того, чтобы объяснить вам некую научную материю, понадобился бы курс лекций, а не одночасовой доклад. Другой альтернативой было бы прочитать вам так называемую научно-популярную лекцию, то есть лекцию, которая заставила бы вас поверить в то, что вы понимаете вещи, которых вы на самом деле не понимаете, удовлетворить то, что, как мне кажется, является одним из самых больших желаний, страстной

мечтой современного человека, а именно: удовлетворение поверхностной любознательности относительно новейших достижений науки. Я отверг эти альтернативы и решил поговорить с вами на тему, имеющую, как мне кажется, общую важность, надеясь, что это может помочь прояснить ваши мысли³ об этом предмете (даже если вы будете совершенно не согласны с тем, что я скажу). Моя третья и последняя трудность — в том, что на самом деле сопровождается длинные философские лекции, а именно, что слушатель не в состоянии одновременно видеть путь, по которому он идет, и цель, к которой ведет его этот путь. Это то же самое, что сказать либо кто-то думает: «Я понимаю все, что он говорит, но к чему же он в конце концов клонит?», либо он думает: «Я вижу, к чему он клонит, но как же он собирается туда добраться?». Все, что я могу сделать, это просить вас быть терпеливыми и надеяться, что в конце концов вы сможете увидеть и дорогу, и то, куда она ведет.

Теперь я начну говорить о своей теме. Это, как вы знаете, этика, и я поведу объяснение с того термина, который профессор Мур дал в своей книге «Principia Ethica»⁴. Он говорит: «Этика является общим исследованием того, что

¹ В предисловии к английской публикации лекции сказано, что она была написана в интервале между сентябрем 1929 г. и декабрем 1930 г. и, вероятно, была прочитана обществу «Еретники», с которым В. в это время поддерживал контакт. Рукопись не имеет названия и, насколько известно, является единственной популярной лекцией, которую когда-либо подготовил или прочитал В. [The Philosophical Review, 1965, V. 74, p. 3].

² Глагол «misuse», который переводится как «злоупотреблять» или «неправильно употреблять» — один из ключевых терминов Витгенштейна. Задача философии, считал В., заключается в анализе того, как употребляется слово в реальной речевой деятельности; и от того, как употреблено определенное слово, зависит решение глобальных философских проблем. Так, в полемике с Дж. Э. Муром, употребившим выражение «Я знаю, что это моя рука» в качестве доказательства существования внешнего мира, В. написал исследование «О достоверности», посвященное в основном проблеме правильного употребления глагола «знать» [см.: Moore, J. E. Philosophical Papers. — L., 1959; Л. Витгенштейн. О достоверности, — Вопр. философии, 1984, № 8, с. 142—149; см. также: Н. Малькольм. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» — В кн.: Философия. Логика. Язык. — М., 1987, с. 234—263].

³ Согласно взглядам В. философия — не наука, а деятельность по прояснению мыслей [в этом парадоксальное — и уже упоминавшееся историками философии — дересечение взглядов В. и философии марксизма].

⁴ Мур Джордж Эдвард [1873—1958] — английский философ, основатель современной этики и философии лингвистического анализа. Зерном этической концепции Мура была идея о том, что философия должна заниматься не самими этическими проблемами, а тем, как они формулируются в языке, то есть, например, не самим понятием добра, а тем, в каких контекстах оно употребляется и какие значения принимает. Мура и В. связывали творческие контакты. Именно Муру принадлежит латинское название основного труда В. [«Tractatus Logico-philosophicus»], который сам назвал его скромно по-немецки «Der Satz» [Предложение]. Латинское название трактата Мура перекликается с названием «Principia Mathematica» основополагающего труда по математической логике, принадлежащего Б. Расселу и А. Уайтхеду, которое в свою очередь является отсылкой к заглавию основного труда Ньютона «Philosophiae naturalie principia mathematica» [Математические основы естественной философии].

такое добро». И вот я собираюсь использовать термин этика в несколько более широком смысле, в том смысле, который фактически, как я полагаю, включает в себя нечто, что является существенной частью предмета, который в целом называется Эстетикой. И для того, чтобы как можно яснее, так ясно, как только можно, понять, что, по моему мнению, является предметом Этики, я дам вам некоторое количество более или менее синонимичных выражений, которые могли бы служить основанием для более общего определения, и умножая которые я хочу произвести тот же эффект, который произвел Гальтон, когда он собрал несколько фотографий разных лиц на одном снимке, с тем чтобы показать картину типичных особенностей, общих у каждого из них. И, показывая такое коллективное фото, я мог бы побудить вас увидеть, что представляет собой типичное, скажем, китайское лицо: так, если вы просмотрите ряд изображений, которые я продемонстрирую перед вами, то вы, я надеюсь, будете в состоянии увидеть характерные особенности, которые будут общими у всех них. Это и будут характерные особенности Этики. Теперь, вместо того чтобы сказать, что «Этика — это исследование того, что является добром», я бы сказал, что этика — это исследование того, что является ценностью, того, что действительно важно, или я бы мог сказать, это изучение значения жизни. Я полагаю, что если вы всмотритесь в эти фразы, то вы получите приблизительное представление о том, с чем имеет дело Этика. И вот первое, что обращает на себя внимание у всех этих высказываний, это то, что каждое из них фактически используется в двух совершенно различных смыслах. Я назову их тривиальным, или относительным, смыслом, с одной стороны, и этическим, или абсолютным, смыслом — с другой. Если, к примеру, я говорю, что это х о р о ш и й* стул, это означает, что стул служит определенной заранее цели и что слово хороший здесь имеет значение в той мере, в какой эта цель предварительно оговорена. Фактически слово хороший в относительном смысле просто означает — подходящий под заранее определенный обра-

зец. Так, когда мы говорим, что этот человек хороший пианист, мы имеем в виду, что он умеет хорошо исполнять пьесы определенной степени сложности с определенной степенью ловкости. И точно так же, если я говорю, что для меня в а ж н о не простудиться, я имею в виду, что простуда производит определенное, поддающееся описанию расстройство в моей жизни, а если я говорю, что это п р а в и л ь н а я дорога, то я имею в виду, что это правильная дорога относительно определенной цели. Использование этих выражений таким путем не представляет сложной или глубокой проблемы. Предположим, что я умею играть в теннис, и один из вас увидел меня играющим и сказал: «Ну, ты играешь довольно плохо», и, предположим, я ответил: «Я знаю, что играю плохо, но я и не хочу играть лучше». В этом случае любой человек может на это сказать: «А, тогда все в порядке». Но представим, что я сказал одному из вас нелепую ложь и он приходит ко мне и говорит: «Ты ведешь себя, как скотина», и тогда я бы сказал: «Но я и не хочу вести себя сколько-нибудь лучше». Мог ли бы кто-нибудь другой на это ответить: «А, ну тогда все в порядке»? Конечно, нет. Он бы сказал: «Но ты д о л ж е н хотеть вести себя лучше». Здесь вы имеете абсолютное суждение о ценности, в то время как первый случай был примером относительного суждения. Сущность этого различия кажется в точности следующей: каждое суждение, имеющее относительную ценность, является всего лишь утверждением о фактах и может быть поэтому приведено в такую форму, что потеряет свойство, присущее суждениям о ценностях. Вместо того, чтобы сказать: «Это правильная дорога в Гранчестер», я мог бы с тем же успехом сказать: «Это правильная дорога, по которой вы должны идти, если вы хотите добраться до Гранчестера в кратчайшее время». «Этот человек хороший бегун» просто означает, что он пробегает определенное количество миль за определенное количество минут и т. д. И вот на чем я хочу настаивать, так это на том, что хотя все суждения, имеющие относительную ценность, могут быть представлены как всего лишь суждения о фактах, при этом ни одно суждение о факте не может быть суждением, имеющим абсолютную ценность. Позвольте мне объяснить это. Предположим, что один из вас — некое

* По техническим причинам курсив в тексте лекции Витгенштейна везде заменен разрядкой. (Ред.).

всеведущее лицо⁵ и тем самым знает обо всех движениях всех тел в мире, живых или мертвых, и что он знает обо всех состояниях ума всех человеческих существ, которые когда-либо жили на свете, и, предположим, этот человек написал обо всем, что он знает, большую книгу, тогда эта книга содержала бы в себе описание всего мира⁶; и что я хочу сказать: эта книга не содержала бы ничего, что мы могли бы назвать э т и ч е с к и м и суждениями или чем-то, логически обозначающим такое суждение⁷. Она могла бы, конеч-

⁵ Всеведущее существо — так называемый демон Лапласа. В релятивистской ориентированной философии считается, что если бы демон Лапласа захотел описать всю вселенную, то это бы ему не удалось потому, что пока он опишет мир таким, каким он был в момент начала описания, то к моменту конца описания мир изменится, и так до бесконечности (См.: Г. Рейхенбах. Направление времени. — М., 1958; К. Поппер. Логика и рост научного знания. — М., 1983; В. Гейзенберг. Физика и философия. — М., 1963).

⁶ Представление о книге, которая содержит в себе все события мира, прошлые, настоящие и будущие, является, по-видимому, одним из универсальных в культуре. В христианской традиции такой книгой считался «Апокалипсис» («Откровение») Иоанна Богослова. В литературе XX века мотив мировой Книги часто обыгрывается. В романе «Сто лет одиночества» Г. Маркеса такая книга, вернее манускрипт, появляется в конце, в ней записаны все события рода Буэндиа (подробнее см. В. Руднев. Текст и реальность: Направление времени в культуре. — Wienar Slavistischer Almanach, В. 17 [1986], р. 196—217).

⁷ В связи с этим встает весьма болезненный для культуры XX века вопрос о том, содержала ли бы эта книга, которая должна содержать все, и саму себя. Этот парадокс теории множеств [в литературе XX века особенно волновавший Борхеса] был разрешен Б. Расселом при помощи так называемой теории типов, в соответствии с которой высказывания второго порядка не включаются в множество высказываний первого порядка. В. отрицал необходимость теории типов, он полагал, что реально все предложения, к какому бы типу они ни принадлежали, относятся к естественному языку и поэтому все стоят на одном уровне. То же, о чем нельзя сказать (к этому относится и этика), должно быть показано. В середине XX века А. Тарский, К. Льюис и Р. Карнап разработали понятие метаязыка, продолжающее линию Рассела. Однако с чисто философской [а не логической] точки зрения позиция В. кажется более глубокой, ибо количество метаязыков может быть умножено до бес-

но, содержать все относительные суждения о ценности и все истинные предложения науки и фактически все истинные предложения, которые могли бы быть вообще сказаны. Но все факты, описывающие мир как он есть, стоят на одном уровне и подобным же образом на одном уровне стоят все предложения. Там нет предложений, которые в каком-то абсолютном смысле являются в наибольшей степени важными или тривиальными. Теперь некоторые из вас согласятся с этим и вспомнят слова Гамлета «Nothing is either good or bad, but thinking makes it so» (Ничто не является хорошим или плохим само по себе, но размышление делает его таковым). Но это опять могло бы привести к непониманию. Слова Гамлета подразумевают, что хотя добро и зло не являются свойствами внешнего мира, но они определяют состояние нашего ума. Я же подразумеваю, что в той мере, в какой мы имеем в виду факты, поддающиеся нашему описанию, они не являются в этическом смысле хорошими или плохими. Если, к примеру, в нашей мировой книге мы читаем описание убийства со всеми его деталями, физическими и психологическими, то описание этих фактов не будет содержать ничего, что бы мы могли назвать предложениями Э т и к и. Убийство будет находиться на том же уровне, что и всякое другое событие, например падение камня⁸. Конечно, чтение этого описания может нам доставить боль или гнев, или любую другую эмоцию, либо мы можем прочитать там о боли или гневе, причиненных этим убийством другим людям, когда они слышали о нем⁹. Но

конечности, в то время как В. замыкает один-единственный язык, на котором мы на самом деле говорим, на самого себя, говоря о невозможности правильно сказать о некоторых вещах.

⁸ В этом рассуждении В. переключается с Расселом, утверждавшим, что физическое описание мира не нуждается в этике, мир сам по себе ни добр, ни зол [см.: Б. Рассел. Почему я не христианин. — М., 1987]. В литературе XX в. противопоставление этики и физики обыгрывается в романе А. Дёблина «Берлин — Александр-плац», где удар кулаком по голове описывается в виде физической формулы.

⁹ В соответствии с идеями, заложенными Г. Фреге и Б. Расселом, предложения первой степени отличаются от предложений о предложениях. Так, придаточное предложение не может быть истинным или ложным в отличие от главного [см. Г. Фреге.

это будут просто факты, но не Этика. И вот я должен сказать, что если я размышляю о том, чем бы должна была быть этика, если бы вообще была такая наука, то результат кажется мне совершенно очевидным, а именно, что ничего из того, о чем мы могли бы подумать или сказать, не могло бы быть ею. Что мы не можем написать научную книгу, предмет которой мог бы быть существенно выше всех других предметов и материй. Я могу лишь описать метафорически свое ощущение от этого: если человек мог бы написать книгу об этике, которая была бы действительно книгой об Этике, то эта книга подобно взрыву разрушила бы все остальные книги мира¹⁰. Наши слова, использующиеся так, как мы их используем в науке, суть бранные сосуды, способные лишь к тому, чтобы содержать и выражать значение и смысл, естественные значение и смысл. Этика, если она вообще является чем-то, есть нечто сверхъестественное, а наши слова могут лишь выражать факты. Это подобно тому, как если чайная чашка будет содержать лишь чайную чашку воды, а я бы вылил из нее галлон¹¹. Я сказал, что в той же мере,

Смысл и денотат. — Семиотика и информатика. Вып. 8—М., 1977]. В. этих различий не учитывает (см. также примеч. 7).

¹⁰ По-видимому, в каком-то смысле, говоря о книге, которая должна была бы разрушить мир, В. имеет в виду «Логико-философский трактат» См. предисловие: «Истинность изложенных здесь мыслей кажется мне неопровержимой и окончательной. Следовательно, я держусь того мнения, что поставленные здесь проблемы в основном окончательно решены. И если я в этом не ошибаюсь, то значение этой работы заключается в том, что она показывает, как мало дает решение этих проблем».

¹¹ Как уже можно заметить, В. в своей лекции почти не пользуется логическими определениями, апеллируя к гипотетическим примерам. Последнее явно отсылает к евангельской традиции, где Христос, для того чтобы объяснить очередное положение своего учения, рассказывает притчу. Пример о чашке, из которой пытаются вылить галлон воды, по тону перекликается с рассказом о пире в Кане Галилейской и с историей о том, как Иисус накормил толпу народа пятью хлебами и двумя рыбами. Вообще противоречивое отношение В. к современной ему логико-позитивистской научной традиции приводит на ум соответствующие отношения Сократа и софистов. Так, платоновский диалог об этике «Государство», подобно рас-

что и факты, предложения, выражающие факты, содержат только относительную ценность и относительное добро, правильность и т. д. И позвольте мне, прежде чем я продолжу, проиллюстрировать это более точным примером. Правильная дорога — это дорога, которая ведет к заранее определенной цели; всем нам совершенно ясно, что нет такого смысла, в котором можно говорить о правильной дороге в стороне от этой заранее определенной цели. Теперь давайте посмотрим, что бы могло предположительно означать выражение «абсолютно правильная дорога». Я думаю, что это была бы такая дорога, по которой каждый, видя ее с логической необходимостью, должен был идти, или по которой было бы постыдно не идти. И сходным образом абсолютно доброе, если есть соответствующее этому и поддающееся описанию положение дел, это такое добро, которое все как один, независимо от вкусов и склонностей, должны были бы совершать или ощущать грехом не совершать. И я хочу сказать, что такое положение вещей — это химера. Никакое положение вещей не имеет само по себе того, что я бы назвал принудительной силой абсолютного судьи. Тогда что же у всех нас содержится в сознании, что мы пытаемся выразить, когда используем такие выражения, как «абсолютное добро», «абсолютная ценность» и т. д.? И вот для того, чтобы попытаться прояснить для себя самого эти мысли, я припомнил бы случаи, в которых я с определенностью использовал эти выражения, и тогда я окажусь в ситуации, подобной той, в которой оказались бы вы, если бы, например, я читал вам лекцию о психологии удовольствия; что бы вы попытались сделать, как не вспомнили бы те типичные ситуации, в которых вы всегда ощущаете удовольствие. Ибо, перенося эту ситуацию в сознание, все, что я могу сказать вам, стало бы в этом случае конкретным и проверяемым. Например, кто-нибудь выбрал бы при этом в качестве опорного примера ситуацию, в которой он предпринимает прогулку в прекрасный летний день. Теперь в такой си-

суждениям позднего В., начинается с того, что Сократ обсуждает обычное представление о справедливости как о том, что пригодно сильнейшему [Платон. Соч. в 3-х т. Т. 3, часть 1. М., 1971, с. 106 и след.].

туации окажусь я, если захочу зафиксировать свое сознание на том, что я обозначаю как абсолютную, или этическую, ценность. И вот в моем случае всегда происходит так, что представление одного специфического переживания служит как бы в качестве переживания *par excellence*¹², и в этом причина, по которой я, говоря с вами, использую это переживание в качестве своего первого и главного примера (как я сказал раньше, это совершенно индивидуальное дело, и другие найдут другие примеры, более точные). Я опишу это переживание, с тем чтобы, если возможно, побудить вас вспомнить такое же или подобное переживание так, чтобы мы могли иметь общую почву для нашего исследования. Я полагаю, что лучший способ описания этого — сказать, что оно имеет место, когда я удивляюсь тому, что мир существует. И в этом случае я склонен использовать такие фразы: «Как странно, что все существуют» или «Как странно, что мир существует». Я обращаю ваше внимание и на другое переживание, которое мне знакомо и которое может быть знакомо всем остальным: это то, что можно было бы назвать чувством абсолютной безопасности. Я имею в виду состояние сознания, в котором некто будет склонен сказать: «Я в безопасности, ничто не может мне повредить, что бы ни случилось». И вот позвольте мне рассмотреть эти переживания, ибо, как я полагаю, они представляют собой те самые характерные особенности, которые мы пытаемся прояснить. И тогда первое, что я хочу сказать, это то, что словесное выражение, которое мы даем этим переживаниям, есть бессмыслица¹³. Если я говорю: «Я удивляюсь тому, что мир существует», то

¹² По преимуществу (Франц.).

¹³ Бессмысленными В. считает такие выражения, которые не являются ни истинными, ни ложными. В. игнорирует различие между смыслом и значением, проведенное Г. Фреге, в соответствии с которым у предложения, которое анализирует В., нет значения [закрывающегося в истинности или ложности], но есть смысл, заключающийся в том суждении, которое содержится в предложении независимо от его истинности или ложности. Пример предложения, не обладающего значением, но обладающего смыслом, приводил Б. Рассел [с тех пор он стал классическим]: это фраза «Нынешний король Франции лыс», произнесенная после 1871 года [подробнее см.:

я злоупотребляю языком. Позвольте мне объяснить это: можно сказать в совершенно ясном и хорошем смысле, что я удивлен чем-то случившимся; мы все понимаем, что значит, если я говорю, что я поражен размером собаки, которая больше любой другой, какую я когда-либо видел до этого, или удивляюсь любой другой вещи, которая в обычном смысле слова является экстраординарной. В каждом таком случае я удивляюсь чему-то имеющему место в конкретном случае, тому, что я мог бы представить в принципе, если бы оно и не имело места. Я удивился размеру собаки, потому что я могу представить собаку другого, а именно обычного размера, которой я бы не удивился. Сказать: «Я удивляюсь тому-то и тому-то, что существует» имеет смысл только в том случае, если я могу представить это не существующее. В этом смысле кто-то может удивляться тому, что еще существует некий дом, в то время как он видит его и при этом не был в нем на протяжении долгого времени и уже вообразил, что он разрушен. Но бессмысленно говорить, что я удивляюсь существованию мира, ибо я не могу вообразить его несуществующим. Я мог бы, конечно, удивляться миру вокруг меня, такому, как он есть. Если, например, я ощутил это переживание, глядя на голубое небо, я мог бы удивляться небу, которое является голубым в противоположность тому моменту, когда оно было в тучах. Но это не то, что я имею в виду. Я удивляюсь небу, каким бы оно ни было. Кто-то испытает соблазн сказать, что то, чему я удивляюсь, есть тавтология, а именно небо, которое либо является, либо не является голубым. Но ведь совершенно бессмысленно говорить, что кто-то удивляется тавтологии¹⁴. То

В. Руднев. Прагматика художественного высказывания. — «Родник», 1988, № 11).

¹⁴ Согласно В. все законы логики являются тавтологиями и поэтому не дают никакого знания о мире, а лишь проясняют другие предположения. Но если это очевидно в отношении одних логических законов, напр., $A=A$, то совсем не очевидно в отношении других, например: если $A=B$ и $A=C$, то $B=C$. Современный логик Я. Хинтика считает, что подобные предположения являются тавтологией лишь на уровне глубинной информации, но не являются таковыми на уровне информации поверхностной [см. Я. Хинтика. Логико-эпистемологические исследования. — М.,

же самое относится к другому переживанию, которое я отметил, к переживанию абсолютной безопасности. Все мы знаем, что означает в обычной жизни пребывать в состоянии безопасности. Я в безопасности в своей комнате, когда меня не может задавить омнибус. Я в безопасности, если у меня уже была простуда и я не могу получить ее вновь. Быть в безопасности по существу означает физическую невозможность того, что определенная вещь случится со мной, и поэтому бессмысленно говорить, что я в безопасности, что бы ни случилось. Это вновь неправильное употребление слова «безопасность», подобно тому, как в других примерах были неправильно употреблены слова «существование» и «удивление». Теперь я хочу внушить вам мысль, что определенными характерными чертами неправильного употребления языка проникнуты в этические и религиозные выражения. Все эти выражения кажутся *prima facie*¹⁵ просто сравнениями. Так кажется, что когда мы используем слово правильный в этическом смысле, хотя то, что мы при этом имеем в виду, не является правильным в тривиальном смысле, то это употребление представляется просто аналогией. И когда мы говорим: «Это хороший парень», хотя слово «хороший» здесь не означает того, что оно означает в предложении «Это хороший футболист», это употребление представляется чем-то аналогичным. И когда мы говорим: «Жизнь этого человека была ценной», мы не имеем в виду того смысла, в котором употребляем это слово, когда говорим о ценном ювелирном изделии, но это употребление представляется чем-то аналогичным. И вот все религиозные термины кажутся в этом смысле употребляющимися как аналогии. Ибо когда мы говорим о Боге, что он видит все, и когда мы становимся на колени и молимся, все наши слова и действия кажутся частью большой и развитой аллегории, которая представляет Его человеческим существом, наделенным большой властью, чьей благосклонности мы пытаемся добиться и т. д. и т. д. Но эти аллегории также описываются пережи-

ваниями, о которых я говорил. В первом из них, ибо первое из них это, я полагаю, то, к чему люди точно обращаются, когда они говорят, что Бог создал мир; и второе это переживание, которое описывается в словах, что мы чувствуем себя в безопасности в руках Божиих. Третье переживание подобного рода — это чувство вины, и оно опять-таки описывается фразой, что Бог не одобряет нашего образа действий. Так, в этическом и религиозном языке мы постоянно используем сравнения. Но сравнения должны быть сравнениями чего-то с чем-то. И если я могу описать факт, обозначив его сравнением, я в той же мере должен быть в состоянии опустить сравнение и просто описать факт, без него. И вот в нашем случае, как только мы пытаемся опустить сравнение и просто констатировать факты, которые стоят за ними, то мы обнаруживаем, что таких фактов нет. Итак, то, что вначале казалось сравнением, теперь кажется просто бессмыслицей. Теперь эти три переживания, на которые я обратил ваше внимание (и я мог бы добавить другие), кажутся тем, кто испытывает их, например мне, имеющими в каком-то смысле внутренне присущую им абсолютную ценность. Но когда я говорю, что это есть переживание, то я подразумеваю, что оно является фактом, имеет место здесь и там, длится определенный конечный отрезок времени и, следовательно, поддается описанию. Но из того, что я говорил несколько минут назад, следует, что бессмысленно говорить, что они имеют абсолютную ценность. Я еще более обострю свою точку зрения, сказав, что это парадоксально, что факты переживания должны казаться имеющими сверхъестественную ценность. И вот путь, на котором я пытаюсь встретить этот парадокс. Позвольте мне, во-первых, вновь рассмотреть в качестве первого переживания удивление перед существованием мира и описать его совершенно другим путем: все мы знаем, что в обычной жизни называется чудом, это, очевидно, просто событие, подобного которому мы еще никогда не видели. Теперь представьте, что такое событие произошло. Рассмотрим случай, когда у одного из вас вдруг выросла львиная голова и начала рычать. Конечно, это была бы самая странная вещь, какую я могу вообразить. И вот, как бы то ни было, мы должны будем оправиться от удивления и, вероятно,

1980). Другими словами, если бы информация, которую мы извлекаем из вывода, содержалась бы уже в посылаках, тогда всякий обмен информацией потерял бы смысл.
¹⁵ На первый взгляд [лат.].

вызвать врача, объяснить этот случай с научной точки зрения и, если это не принесет потерпевшему вреда, подвергнуть его вивисекции. И куда тогда должно будет деваться чудо? Ибо ясно, что когда мы смотрим на него подобным образом, все чудесное исчезает, и то, что мы обозначаем этим словом, есть всего лишь факт, который еще не был объяснен наукой, что опять-таки означает, что мы до сих пор не преуспели в том, чтобы сгруппировать этот факт с другими фактами в некую научную систему. Поэтому абсурдно говорить: «Наука доказывает, что чудес не бывает». Истина состоит в том, что научный путь рассмотрения вещей это не тот путь, на котором можно смотреть на чудеса. Какой бы факт вы ни представили себе, он не будет чудом сам по себе в абсолютном смысле этого слова. Ибо мы теперь видим, что мы использовали слово «чудо» в относительном и абсолютном смысле. И теперь я опишу переживание удивления перед существованием мира, сказав, что это взгляд на мир как на чудо. Теперь я попытаюсь сказать, что правильное выражение в языке для передачи чуда существования мира, хотя в языке нет ни одного предложения об этом, это существование самого языка. Но что же тогда означает, что осознаем это как чудо в одно время и не осознаем в другое? Ибо все, что я сказал о сдвиге выражения чудесного с выражения при помощи значения языка к выражению при помощи существования языка, все, что я сказал, все это опять-таки сводится к тому, что мы не можем выразить того, что мы хотим выразить, и что все, что мы говорим об абсолютном чуде, остается бессмысленной. Теперь ответ на все эти вопросы покажете ясным многим из вас. Вы скажете: ну, если определенные переживания постоянно вводят нас в соблазн определять часть из них как имеющие абсолютную ценность, то это просто показывает, что, употребляя эти слова, мы не имеем в виду высказать нечто бессмысленное, что, наконец, то, что мы имеем в виду, говоря, что переживание имеет абсолютную ценность, является просто фактом подобно другим фактам и что все это приводит к тому, что мы еще не преуспели в поисках корректного логического анализа того, что мы обозначаем под нашими этическими и религиозными

выражениями. Теперь, когда мы в этом убедились, я моментально, как при вспышке света, ясно вижу, что не существует не только описания того, что я могу думать о мире, с тем чтобы описать то, что я имею в виду под абсолютной ценностью, но что я не признаю того, что кто-то был бы в состоянии говорить *ab initio*¹⁶ об основаниях их значимости. Это все равно, что сказать: теперь я вижу, что эти бессмысленные выражения были бессмысленными не потому, что я еще не нашел правильных выражений, но что их бессмысленность и была самой их сущностью. Ибо все, что я хотел сделать, это выйти за пределы мира, и это то же самое, что сказать за пределы значимого языка. Все мое стремление, и, я полагаю, стремление всех людей, кто когда-либо пытался писать или говорить об этике или религии, было стремлением вырваться за границы языка¹⁷. Этот побег сквозь стены нашей клетки совершенно, абсолютно безнадежен. Этика в той мере, в какой она происходит из желания сказать что-нибудь об абсолютном значении жизни, абсолютном добре, не может быть наукой. То, что она говорит, ничего не прибавляет к нашему знанию в любом смысле этого слова. Но она является документом стремления человеческого ума, которое лично я хотя и не могу поддерживать относительно глубоко, но которое тем не менее не был склонен на протяжении своей жизни осмеивать.

¹⁶ С начала (лат.).

¹⁷ Ср. в ЛФТ: «6.4. Все предложения равноценны.

6.41. Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности.

Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего [...].

То, что делает это неслучайным, не может находиться в мире, ибо в противном случае оно снова было бы случайным.

Оно должно находиться вне мира.

6.42. Поэтому не может быть никаких предложений этики.

Предложения не могут выражать ничего высшего.

6.43. Ясно, что этика не может быть высказана.

Этика трансцендентальна».

Перевод и комментарии
В. РУДНЕВА

СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ—ДЕТСТВО У РИЖСКОГО ЗАЛИВА

Сергей Горный, как легко догадаться,— псевдоним. В свое время а ходу были псевдонимы именно подобного рода: Максим Горький, Андрей Белый, Саша Черный, Антон Крайний, Демьян Бедный и т. п.

Правда, псевдоним «Горный» возник не на пустом месте: носитель его учился в Горном институте.

Настоящее имя писателя Александр-Марк Авдеевич Оцуп (1882—1949).

Кроме него в семье было еще много братьев. Со временем оказалось, что половине братьев обходиться без псевдонимов просто невозможно. Только один из них остался под своей фамилией — это был поэт Николай Оцуп, известный своей принадлежностью к гумилевскому Цеху поэтов (новому). Но догадайся и он заблаговременно обзавестись псевдонимом, ему не пришлось бы попасть на зуб шутикам из Дома литераторов, которые отчаянно веселились даже в самые холодные и голодные дни Петрограда (смотри об этом хотя бы книгу Ольги Форш «Сумасшедший корабль»). Эти шутики доказывали, что фамилия Оцуп всего лишь аббревиатура и расщипывается как Общество Целесообразного Употребления Пищи.

Третий брат, Георгий, тоже поэт, взял себе псевдоним — Раевский.

Как видим, семья была очень талантливая: три писателя — и все довольно известные (для эмиграции; у нас же с их творчеством был знаком лишь узкий круг специалистов). Маверняка прославился бы и другой брат, Павел, многообещающий ученый, если бы не погиб в революционные годы в Петрограде.

Но вернемся к Сергею Горному. Гимназию он окончил (с золотой медалью)

в Царском Селе, где и жили Оцупы. Что касается вакаций, то несколько лет они проходили на Рижском взморье — в Каугерне (ныне Каугури), о котором писатель и рассказывает в приводимых ниже очерках.

Более того — писатель был связан с Ригой и родством. Не раз в студенческие годы он живал у своего дяди, известного психиатра д-ра Шенфельда, лечебница которого находилась в парке бывшего имения Аггазен (в конце нынешней Виенибас гатве).

По-настоящему, уже основательно Горный начинал свою литературную деятельность в студенческие годы в «Сатириконе» Аркадия Аверченко, в издании которого и вышла первая книжечка его фельетонов.

Но присяжным остроумцем С. Горный не стал, несмотря на шумное сатирико-юмористическое окружение. Этому противились присущий ему лиризм и кроткая натура.

Как писал он сам о себе (рижский журнал «Наш огонек», 1925, № 23):

«Раньше был пересмешником и пародистом. Что-то схватывал, прищуривался и той же хваткой, зеркально подражал. Потом прошло! Задумался. И сквозь смех явилась... кротость, пристальная дума. Но видел все еще смутно, неясно...»

Пришли ветровые годы, гудение, неистовство... Налетело. Пришли. Ударил штыком. Глубоко заглядывая в глаза, наклонилась смерть. И вся прежняя жизнь ушла. Началась вторая».

(Насчет удара штыком — это не метафора. Действительно, в годы лихолетья на юге России Сергея Горного почти смертельно ударили штыком в живот. Выжил он чудом.)

«А во второй — был изнемогающий жар тропиков. Полтора года на острове Кипре... Пестрые базары Востока... И была опять два раза смерть. А теперь тоска и боль...»

Все кусочками. Все виденьями. Нестерпимо ясно и четко — таким хрустальным, застывшим коридором — встает во мне прошлое. Беру его скорей, скорей. Закипаю словами...

Все пристальнее всматриваюсь. Все обреченнее люблю. Все проще живу».

В то время писатель еще жил в Берлине. В начале 30-х годов, как и большинство русских эмигрантов, переехал в Париж. А далее, в ходе второй мировой войны, судьба занесла его в Мадрид, где он и скончался.

*

Эмиграция вообще любила вспоминать. Это и понятно: все осталось в прошлом и было как бы подлинной реальностью, тогда как будущее было иллюзорным. Это особенно наглядно видно, когда перелистываешь эмигрантские газеты и журналы год за годом — воспоминания, мемуары, «Из прошлого», «Дай оглянусь!», «А вот еще вспомнилось»... и т. д.

Но для Сергея Горного вспоминать было свойственно вообще. Свойство природы.

Отмечая 20-летие со дня выхода первой книги С. Горного, Петр Пильский писал («Сегодня», 1931, № 172):

«В Горном подкупает искренность лиризма. Это — лиризм любви, этот лиризм любит сам Горный. Но ничем сердце не расстроивается так полно, как отлетевшими очарованиями. Самая высшая нежность подарена нашему прошлому. Невозвратное воскресает в нашей памяти как умершее счастье. Его трудно забыть, но его нелегко и ясно сберечь в наших воспоминаниях. Время не знает пощады, суровый ход дней стирает следы, обесцвечивает яркость, притупляет остроту... Но есть и талант памяти. Это — талант бережности, дар нежных. Им Сергей Горный наделен исключительно...»

... В конце концов, он желает только одного, чтобы мы всем своим существом поняли, как хорошо то, о чем он пишет, — не самое его письмо, а предмет его грустной влюбленности, его печально-счастливых воспоминаний,

исчезнувших, но всегда живых образов».

Благодаря этому дару помнить и запечатлеть мы и имеем сейчас возможность как бы разглядывать желтевшие фотографии для старого стереоскопа.

Чехов говорил, что поводом для написания рассказа у него может быть что угодно. — Вот пепельница. Хотите я напишу о ней?

Только при этом пепельница была именно поводом. А для Горного — все эти «пепельницы» прошлого, все витрины петербургских магазинов и предметы в них, иней Царского Села, кафтан извозчика, шкатулка матери, сюртук отца, сапоги рыбака, кожанка копченной «стремижки» (которая, пожалуй, скоро и для нас отойдет в область воспоминаний) — были самоценны. С их помощью он создавал не рассказы, а живые картины.

Впрочем, этого он коснулся в очерке «Каугерн», где самым главным является «голенице, полное крови».

На этом сопоставлении наглядно видно, что есть великий писатель с перспективой в будущее и есть литератор своего времени. Один, отталкиваясь от факта и предмета, создает вторую действительность, творит. Другой же лишь воссоздает, воспроизводит то, что всего лишь было и ушло. Но будем благодарны и второму, если он воспроизводит точно, наглядно, достоверно — это остается как нужная нам фотография и документ.

Очерк «Рига... Торенсберг... Засенгоф» напечатан был в рижской газете «Сегодня», 1925, № 109;

«Каугерн» — там же, 1930, № 148;

Кроме того, в номерах 167—168 за 1925 год был напечатан примыкающий к ним очерк «Трое». Его мы опускаем из-за нехватки места.

Очерк «На взморье» взят нами из книги С. Горного «Ранней весной» (Берлин, изд. «Парабола»). Год издания не указан, но, судя по рецензии на нее А. Романова, помещенной в парижском журнале «Иллюстрированная Россия», № 3 за 1933 год, это, очевидно, 1932 год).

Шарж на Сергея Горного принадлежит рижскому карикатуристу Civis'у (Цивинскому).

Публикация Ю. АБЫЗОВА

1. РИГА... ТОРЕНСБЕРГ... ЗАССЕНГОФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ШТРАНДЕ

Вот что вспоминается.

Я склоняюсь к влажному песку. Босиком. С высоко закатанными гимназическими штанами.

Мы ищем янтари.

Пружинит песок под босыми ногами: приятная, чуть влажная податливость. И пред нами маленький, нанесенный за ночь приливом, черненький «сор»: это — не ил, не пухлые, с лопающимися, похожими на тонкую, желтоватую клеенку цветами водоросли, — а действительно деревянный, черный, точно перегоревший, бесконечно мелкий мусор. Если он подсохнет, он будет похож на крупные чаинки. И вот, помните ли вы? Искали ли когда-либо на рижском штранде янтари? Иногда в этом соре внезапным уколom, острым глазком, сочным осколком драгоценности падался:

— Янтарь!

Может быть, в этом уколе, — теплом густке, желтоватом, живом камешке, — вся радость нашего детства.

Мы сидим на корточках и поем... Что бы вы думали?

Мы «поем» расписание поездов Риго-Туккумской железной дороги.

В долгие часы ожидания поезда в деревянном зале Шлокского вокзала, где стояли багажные прилавки и голые скамьи, а на стене висели желтые выжженные расписания «Риго-Орловская» — «Риго-Туккумская ветвь», — в эти часы и выучили:

Рига —

Торенсберг —

Зассенгоф —

Пупе —

Бильдерлингсгоф —

Эдинбург —

И если кто делал ошибку, пропус-

кал, — другие набрасывались и «экали».

«Экать» — это означало поставить попавшегося в центр круга и протянуть к нему скрюченный указательный палец. Дразнить. «Экать».

— Э-э-э-э-э...

Немного хриплыми, застоявшимися голосами — чтобы постыдней было. И непременно скрюченный палец, чтобы было более цепко, более похоже на Бабу Ягу.

— Первый залп!

Командовал кто-либо из старших. Третьеклассник или даже пятиклассник.

Хрип прорывался: — Э-э-э-э-э! ..

— Второй залп!

— Э-э-э-э-э-э...

— Третий!

— Хэ-э... рхэ-э...

И потом мирились, — разбежались, — на влажном, упругом, чуть пружинящем от прилива песке расчерчивали огромные «города», расставляли по линиям «городки», — и выбивали рюхи круглыми, увесистыми и в рукояти гладко оструганными палками.

— Рррраз! ..

«Пушка» взлетала. Рюхи рассыпались. И молодой и радостный крик оглашал каугернскую окрестность.

Янтари клались на ладонь. Крепко сжимались. Лишь бы не растерялись.

Были куски, угловатенькие камешки, такие прозрачные, такие радостные, светлая смола. А в ней лучик солнца заблудился, рассмеялся. С тех пор камешек светло-желтой прозрачностью улыбается. В черном соре — желтый писк, укол.

Были куски теплее, гуще, кровавее. «Вечерние» янтари.

Были мутные, молочно-желтые, незрячие, с бельмом.

И иногда туда, по дороге к Рагацему, находились огромные, «рокфеллеровские» большущие куски. Эти лежали одиноко. Не в мелком морском мусоре, а отдельно. Среди палочек и камышей, близ травянистого ила. А иногда просто такими отшельниками, бирюками — одинокими пустынноиками на песке.

Дикий вскрик. Кто-то выпученный, с раздувшейся парусом гимназической рубашкой пробежал, кинулся, бросился на живот, схватил.

Крупный янтарь найден.

Все проглотили слюну от зависти.

Рассматривают. Находка действительно редкая. Полупрозрачный, чуть выщербленный, по краям окатанный. Какие-то соринки и точки в нем внутри. Где-то мы прочли, — кажется, в «Природа и люди», в отделе «Смесь», что в янтарях с незапамятных времен, в этой ископаемой смоле, бывают «запечены», туго облиты прозрачным соком — всякие насекомые и жучки. Мы лично этого никогда не находили. Но добросовестно искали.

Янтари хранили в коробочках. Мелкие, слепящие или мутные, осколочки — в спичечной. Побольше — в коробке от гильз. (Катыка. Был такой.) А самые большие в жестяной (нарядной, с фигурой французского офицера. Коробка от «печенья с солью» Эйнема «Капитэн»).

Не помните?

Янтари надо было искать немедленно после прилива, рано утром, или вечером, лишь схлынет море. Иначе можно опоздать. Иначе пройдут вдоль берега (достаточно раз) специалисты, умелые искатели, и от их глаз не скроется ничего. Или рыбак Яков Бауск, имевший огромный янтарь — предмет гордости (и нашей бессильной, так что во рту слюна наikipала, зависти), — «Великий Могол» рижского побережья. Янтарь, похожий на булыжник. Или учитель французского языка Андерсон, — кажется, из Шавель, — высокий, прямой, седой и отчетливый старик. Это был «самум побережья»: уж если они пройдут хоть раз по берегу, — янтарей после них не найдешь. Или оставят что-нибудь жалкое, осколочки, мелкото.

И потому надо было после прилива быть начеку, — заворачивать штаны выше колен, — брать суковатую палку



Сергѣй Горный.

Шарж Цивиса

и бежать скорей — туда, налево, к Рагацему, по направлению к Кеммерну, где народу было меньше и где, по преданиям каугернских старожиллов, были «янтарные места».

Вечером мы на балконе разбираем улов.

Балкон стеклянный, уютный, как коробка, и шум моря и темнота — не страшны. Большие деревья качаются и овевают нас как опахалами: «Ничего, мол, — не бойтесь. Мы здесь. Разберите свои янтари».

И мы разбираем. Маленькие в желтую коробочку «Ираида» В. А. Лапшина, а покрупнее — в большие.

И поем. Мурлычем. Тесно и дружно сжавшись. На разные голоса.

Один даже ведет «фон», аккомпанемент церковным и густым теплым басом:

- Рига
- Торенсберг

— Зассенгоф

— — — — —

— Кеммерн

— Шмарден

— Туккум . . .

И опять сначала. Много раз. Мы даже не замечаем, что «поем» расписанные Риго-Туккумской ветки. Мы уже привыкли. Просто мурлычем что-то. И главное — разбираем.

Завтра можно будет меняться: Роберту с соседней дачи дать пять маленьких, желтеньких за одну большую, — и мальчику из еврейского приюта всучить две матовые в обмен на яркую, похожую на желтую пирамиду. Если прибавить две сливочные ириски (за копейку — штука, в мелочной и «колониальной»), то он наверное пойдет на обмен.

Днем, когда жарко, — мы в лесу. Карликовые, совсем низкие кустики, не знаем, как их зовут: голубоватобледненькие, маленькие цветы цепочкой на них. И коренастые, совсем у земли, кустики брусники. И сама брусника — твердые ягодки — или сырые, беленькие, крепкие, как круглый катышок, камешек — или красные, посочнее, но тоже твердые. Или черника. Щеки и губы измазаны. Пальцы в фиолетово-черных пятнах: это мы искали чернику. Корзинка пустая, а губы и зубы черные.

Мы идем искать грибные места.

На полянках ближе к пляжу, на сухих, песчаных проталинах твердые, крепкие, еле видные во мху матово-желтые шапочки. Рыжики. Лисички. Их выкапывать вкусно. Надо упруго лезть в песок, выковыривать указательным пальцем. Или снимать целым пластом моховую постель. И тогда видно, как они там сидят: побольше и поменьше, целой семьей и есть совсем малыши, такие карапузы, дети.

Боровики — те аристократы. Чуть пузатые, в раскачку. Шапка маленькая, да еще набекрень. Иногда такой толстак, всего его раздует, а матовая, бурокрасная, блеклая шапочка сверху, как корпорантская, еле держится. И листок прошлогодний, бывало, к шапке прилип. И игла сосновая, в одиночку. Отдерешь, а на палевой шапочке — бледный след, уголком: точно на обоях, когда долго картины висят, а потом снимут — чуть выцветшее пятно остается.

Сыроежки, — те ближе к влажным местам. Там, где трава яркая, точно ядовито-зеленая: это она просто раду-

ется, что тут же вода. И сыроежки на обочинах дорог, с тонким пеньком. Шапочки желто-палевые или красно-бордовые. И улитка на ней: проела кусочек. А перевернешь, под шапочкой веселая, слоистая гармоника: грибные губы.

Мы идем через Шлокский лес прямо к полотну. Вот запасной путь, тупик. И много товарных вагонов.

Опять можно поиграть.

Мы играем в «буквы».

На одном вагоне:

М.В.Р.

Что это?

— Московско-Виндаво-Рыбинская.

«Тормоз Вестингауза», «40 человек, 8 лошадей». «Возврат — ремонт к июлю 1903 года».

Запоминаем все. Жадной, свежей, влюбляющейся душой.

Р.У.

Рязано-Уральская.

М.К.В.

Московско-Киево-Воронежская.

Р.О.

Риго-Орловская.

Назад возвращаемся с пустой корзиной. Напрасно брали ее с собой. Есть такой «грибной бог», и он карает за самонадеянность. Никогда нельзя брать с собой б о л ь ш у ю корзину. Ничего не найдешь. Бери маленькую.

Правофланговый отбивает такт. Идем по каугернскому пыльно-песчаному, серому шоссе. Вздыхаем облака. Размахиваем руками. Ворота косовороток растегнуты. Без шапок. Волосы спутаны. Из-за сосен — солнце. Оно целует стволы и кроваво красит их смесью жидко-червонной и красной красок. Кора деревьев пылает так вкусно. И глянцево.

Мы знаем, что дома — к вечеру — к ужину — на балконном столе холодный и крепкий творог — таким пластом. И дымные, только что от рыбаков, из коптилен — «штремлинги», «бретлинги», с которых так удобно, пока они еще свежие, стаскивается сразу темно-бронзовая, еще теплая кожа.

Мы поем.

Про себя. Чуть мурлыча.

Нашу полковую песню.

— — — — —

Майоренгоф . . .

Дуббельн . . .

Карлсбад . . .

Ассерн . . .

— — — — —

Раз! .. Прраз! .. Левои! Левои! ..

2. КАУГЕРН

Всегда очень тяжело подыматься на дюны: устает сердце. Песок так осыпается около сапога, струйками. Вязко вытаскиваешь ногу.

Вот около дюн мы его и нашли.

Как-то по-темному ударяло море, плескало неразборчиво. Звук ведь у моря бывает светлый, солнечный — и неясный, бормочущий, сумеречный. По самому звуку, шлепанью накапывающейся волны можно судить — темно ли уже на берегу, страшно ли: даже глаз не надо открывать.

Мы его нашли как раз в сумерки. От моря шел холод и такое вот уже вечернее бормотанье.

Когда мы его понесли, увязая в песке (вдвойне, втройне тяжки были нам дюны в тот вечер), — стало совсем темно. Потом в тесной комнатке, близ нашей кухоньки, когда мы стягивали с него огромный рыбацкий сапог (я всегда завидовал таким сапогам — было в них что-то кирасирское, рыцарское, прекрасно-средневековое — из Вальтер-Скотта), — оказалось, что сапог полон крови. Она потекла оттуда. Ведь кровь должна появляться лишь пятнами, понемногу — или струйками или уж — если дело плохо — большой струей, но она не должна плескаться, как в лохани. В этом уже что-то от убийства. А тут кровь прямо хлюпала в сапоге. И вот именно этого нельзя забыть.

Даже шум моря забываешь, он уходит в прошлое, как неразборчивый мотив, как музыка, звучащая под сурдинку где-то далеко в сердце. И вечерние балконы, их огни сквозь листву помнишь неясно, как пятна, тоже как музыку. Весь Каугерн, — и мелодию юности нашей (жесткий хруст босых подошв о влажный песок, — мягкую, бархатную ласку, тоже босиком, по слежавшейся хвое, скольжение, лесной паркет) — все это вспоминаешь в ласковой дымке. А сапог латыша, рыбака, — которого, очевидно, подкололи там, за огородами, и который долго лежал, истекая, — этот сапог, из которого полилась кровь, точно самая обыкновенная жидкость, — вот этого нельзя забыть.

У нас, гимназистов, было такое «гражданское» желание: спасти раненого. Разумеется, — это каждый обязан делать, спасти гибнущих, но

мы делали это чуть-чуть, на одну йоту шумнее, подчеркнутее, чем надо было. Засучивали рукава, жертвовали белизною крахмально-сиявших блуз. Это было наше «хождение в народ».

Латыш был высокий, костистый, крепкий. Узкая бородка его как-то спряталась, словно он сунул ее нарочно в тяжелую черную куртку. Лица точно не помню: в сумерках, при свете керосиновой лампы, которую принесли из кухни, ничего нельзя было ясно разоб- рать. Но так казалось романтичнее. Огромное тело рыбака лежало большой горой. Он как-то согнул колени, — то молчал, то начинал чуть хрипеть, — и большая его тень, заполняя всю комнатенку, дергалась на стене, вползала на потолок. Мы отрывисто отдавали приказания. Убегали за свинцовой примочкой, врывались в комнату, требуя марли, — если б можно было, разорвали бы все простыни на перевязки.

Рыбак отходил. Он был ранен в бок, видимо неглубоко. Когда дело дошло до самой раны, мы отступили, и Марта, высокая, худая латышка (которую мы подозревали в любви к крепкому сбитому, рыжему мяснику), перевязала его накрепко. Когда все чуть стихло и мы склонились над рыбаком, выяснилось (в тишине), что от него пахнет вином. Даже сильно пахнет. В пылу «хождения в народ» мы этого сперва не заметили. Это немного нарушало романтику, но что делать? Надо было принимать факт. Мы даже его хотели истолковать в свою пользу, то есть в пользу рыбака, ибо мы это был он. Он это был народ. Должно быть, кто-нибудь воспользовался его состоянием и пырнул, свел счеты.

Когда мы снимали сапог и просто, как «жидкость», вытекла кровь (незабываемо!), — надо было отматывать еще ту тряпку, которая ему заменяла чулки. Мы поколебались, но струя народничества взяла верх: мы ее все-таки размотали.

Хозяина дачи (какая это дача? это просто домик-изба почище, но зато на самом берегу) звали Яков Бауск. Вот именно: Яков Бауск. — Господи! Что только не случилось после этого, какие годы легли — точно полевые широкие пашни — между тем временем и нами, а вот заботливая Память (де-

лать ей, видно, нечего или капризы, верней, у нее такие) уложила бережно это имя в какую-то шкатулочку в голове, даже словно в вату завернула (имя «Яков Бауск»). Так вот ювелиры пакуют в цветную вату голый камешек без оправы, — чтоб лежал, чтоб ему мягче было. Кладут в картоночку, защелкивают ее — резиночкой охватывают. Пожалуйте. Или прячут к себе далеко, в несгораемый шкаф.

Так и здесь Память спрятала, сберегла пустяковое слово, звук, имя. Но для памяти нет пустяков. Громычали выстрелы, лизал огонь этот самый ящик несгораемый, — гибли под Праснышом и над Соммою люди, — а когда кончились чужие бои и начались свои, и кто-то своим, нашим же штыком ударил меня, взрезал, — и полплыли большие красные круги, то уменьшаясь, то ширясь, и завертели над чужими морями и землями (это мы уезжали на чужбину), то коробочка с камешком «Яков Бауск» все время ехала вместе. Ее не обжег красный огонь, не задело железо, не унесли круги-вертуны. Я ее сохранил:

Хозяйина звали Яков Бауск.

Спросите у каугернских старожилов. Можете комиссию назначить, «сенаторскую ревизию», проверить меня, — и комиссия принесет вам ответ:

— Да. Его звали Яков Бауск. Именное, Яков Бауск.

Он стоял на дворе, спокойный (старые беллетристы писали в этом месте «кряжистый»). Пожалуй, это верно: что-то кряжистое было в нем, но не в узловатом смысле, а скорее, как спокойное бездумие.

Он не восхищался «спасителями» латыша, но и не осуждал «ходящих в народ». Стоял спокойно, чуть расставив ноги, тоже в кирасирских, средневековых сапогах (голенища чуть выше колен с отворотами) и курил. Чуть, еле слышно сопел и курил. У него был такой вид: — «Если бы вы оставили «его» подколотого там, за огородами, — что ж? — ничего страшного бы не случилось. У нас, в Каугерне, всякое бывает. Не часто, но бывает. Повздорят люди и нож зытачат. Из-за дележа, из-за вина, из-за крутобокой, высокой (у нас все высокие) Минны. Отлежался бы, отошел. Умереть не умер бы. Такого у нас не бывает. До смерти не быют. У нас убийств не бывает . . .

Ну что ж, молодые люди мои, раз

вы спасаете, что ж, спасайте: немножко странно, может быть, что сами с ноги тряпку снимаете (нам казалось, что тень улыбки — только тень — передвинулась в углу рта). Ну что ж, раз снимаете, так уж снимайте. Дело не плохое. И на огороде оставить тоже можно было бы. Отлежался бы. И спастись можно. Раз хотите в народ ходить, что ж? Ходите . . .»

Всего этого Яков Бауск не говорил. Он вообще ничего не говорил. Стоял в полутьме на дворе и молчал. Посапывал (чуть-чуть) — и курил. Рядом с ним стояла жена, Баускихе, — так мы ее звали, — спрятав руки под передником, и молчала. (Таких крестьян рисовал Ходлер. Такие спокойные мужики бывают у Толстого и Бунина.) Они стояли такими монументами, не осуждали и не поощряли. Впрочем, Баускихе (так нам казалось) скорее поощряла.

Рыбак отоспался и тяжело ушел. Мы его провожали, поддерживали.

После этого мы его иногда встречали, почему-то только по воскресеньям. Он узнавал нас, дергал головой и по его морщинам ползли тени: это он улыбался. Лица его мы точно не запомнили, но фигуру узнавали. Высокий, худой, костистый. И сильный. Как же не сильный — выжил, несмотря на то, что кровь в голенище хлюпала.

Вот и все.

Никакой фабулы, Никакого рассказа. Даже никаких лирических воспоминаний или так называемых настроений: вот, мол, какие мы были и вот, мол, какая мне симфония просвечивает отсюда, из юности, мол. Все это я опускаю за ненадобностью. Рассказать надо было кратко только о «голениище», полном крови. Это я и рассказал. И о нашей гимназической суете. Спасители, мол. И это я рассказал.

Писатели старой школы (а я вовсе даже не писатель, а вроде, как сказать, «повторитель» прошлого — повторение пройденного!) — те бы знали, как все это повернуть и представить. Описали бы огород за Каугерном, и Марту, и ревность «Лагздыня», придумали бы соперника, имена, фамилии. Описали бы корчму и лампу высоко под потолок, высок махорочный, умелые плевки через всю комнату, едкую сивуху — смешанный запах дегтя, и рыбы, и моря (умеют писать настоящие писатели, что и говорить, так бы и сказали: «смешанный запах»).

И вышел бы рассказ. Ревность. Марта. Соперник. Туман. Злоба. Пырнул. Огород. Смешные гимназистки. Голенице. Кровь. Наивность. Хождение в народ. Но пока перевязывали, чья-то фигура крадется. Марта. Она теперь всегда будет с ним. Она целует его заскорузлую руку. Заскорузлую. Но кто это опять крадется отсюда к морю, к лодкам? Кто? Не Марта ли? Она отомстит Лагздыню. Кто такой Лагздынь? Это тот, кто пырнул. У старых писателей все расписано, все в порядке, все на своем месте. Она проковыряет лодку Лагздыню. Он не заметит. Выедет завтра на ловитву (кто знает, может быть старый писатель в этом месте написал бы именно «ловитву»), а лодка понемногу наберет воды и . . . «В его выкаченных, обезумевших глазах в последний раз отразились облака и далекая полоска берега. Облако было похоже на верблюда. А вот это рядом — на склоненную женщину. Какая знакомая спина. Что это? Марта? Маа-рта-а! . . . Ма-а . . . Соленая волна хлынула в рот. Руки раскинулись, словно он хотел обнять кого-то. Облако меняло свои очертания. Теперь уже оно не было похоже на верблюда. И женщина тоже

встала с колен. Она встала во весь рост. Заняла полнеба. Мстительная туча. Она победила. Лагздыня не стала».

Вот как написал бы старый писатель. И с фабулой и с настроением. А не только про одно голенице.

Я могу еще прибавить, что не меньше старого писателя люблю вечернее море и его шлепающее (водяными губами) бормотанье и вечерние огни веранд сквозь листву. Там на балконе, на столе творог и бронзовые, свежие, только что принесенные Баускихе «штремишки» (с которых одним приемом снимается золотистая, крепко пахнущая кожа). Рыбки эти висят на темной рогожке. Она продета через жабры. Мошкара и ночные бабочки вьются вокруг лампы.

Там за темным садом дюны. Тяжело по ним ходить. Вязнут ноги. Сыгучий, тяжелей песок. И с моря текут сумерки.

Прекрасная жизнь. Пахнущая морем, и вечером, и лесом, соснами, жильем и «штремишками». Мы любим ее, эту жизнь, ничуть не меньше старых писателей с фабулой, с Лагздынем и с мстительной Мартой.

3. НА ВЗМОРЬЕ

Перрон. Высокий деревянный перрон. Узкая, дачная лестница. Рига-II. Мальчик (а до него полугорбатый, всей Риге знакомый старик) кричит с каким-то иностранным акцентом, странно прозвоня сдвоенное «э»: «газэтти, газэтти».

Кондуктор в коломянке несколько раз бьет в звонок. Мимо проходят студенты в форме. (Тогда все были в форме: лесники, акцизники, судейские, путейские. Студенты: политехники, универсанты, горняки, технологи. Наплечники, канты, петлички, значки. Молоточки и кирки — вензеля на погонах, тужурки, сюртуки, кителя.)

Кондуктор в кушаке «Р. О.» — «Риго-Орловская железная дорога» («Риго-Туккумская ветвь») — позвонил. Оберкондуктор в серебристом кушаке (уже в другом), с витыми аксельбантами у

плеча — залился свистком. Паровоз ответил. Обер залился горошиной еще раз. Паровоз ответил еще раз протяжной, настойчивей, прощальнее. Впереди уныло и всегда почему-то на миноре (никогда там не было мажора) прогудел печальный стрелочник: «Пожалуйте. Путь свободен».

И только тогда скрипнули цепи, толкнулись друг о друга буфера, покачались (подумали еще, не решаясь сразу) вагоны — и мы поехали. Застучали по подъездным путям.

Салютовали нам стрелки, кланялись семафоры — мы выезжали из этой массы привокзальных рельс (колея близ колеи) на одинокое полотно. Выезжали не торопясь. Мы вообще тогда не торопились. Жизнь была устоявшейся, прочной. Казалась ведь нерушимою, вечной. Куда же тут торопиться. Зачем?

Рига — Торенсберг — Зассенгоф — Пупе¹. Пупе — какое странное имя. К чему оно? Вот Солитюд это гораздо красивее, что-то французское. Да и скачки там были. И справа и слева лес. Большие, незабываемые сосны.

В закятные часы, на их глянцевои коре совсем наверху краснели прощальные блики. Под ними виднелись пятна дачников, — живые, передвигающиеся пятна. Их можно было рассмотреть. Даже из окна вагона.

Мы же не торопились. Меж двух сосен протянут гамак. И чья-то юбка косым треугольником — тогда ведь носили длинные — синим углом свесилась с гамака. Чья-то спина наклонилась, собирает клубнику.

Кстати, какая разница между садовой землянкой и клубникой? Я не говорю о лесной землянике, та маленькая, катышками. Я говорю о большой. Строго говоря, мы разницы не знали. Иногда называли крупную землянику «Викторией», вот и все.

(Зачем я это вспомнил? А затем, что запрета в воспоминаниях нет. Они проплывают пятнами, как облака. То плывет что-то, то снова кусок неба. А когда любишь все это — то и гамак дачный можно вспомнить близ Эдинбурга-11² (непрененно 11, так торжественней) — и большие стеклянные шары во всех садах, обращенных лицом к полотну дороги. Стеклянные цветные шары, в которых отражались клумбы и люди, и накрытый к чаю стол с цветною скатертью, и гипсовые садовые гномы чуть поодаль.)

Поезд замедляет ход. Куры, клевавшие что-то у перрона, с диким хлоптаньем убегают вдоль канавы. Одна от страха бежит вдоль поезда, рядом с ним и никак не может убежать. Другая вспорхнула и (кто мог от нее это ожидать?) — прямо птица какая-то) перелетела, дико квохча, через канаву и по-сумасшедшему куда-то убежала, сама не веря тому, что стала птицей.

А солнце все целует сосны наверху, настойчивее и краснее. Солнце — прощающийся любовник. Оно уходит на всю ночь до завтра. Обычно любовники приходят к ночи. Солнце любит и изнемогает днем. Оно устает к вечеру. Его поцелуи впадают. Если б сосны могли, они бы «передернулись» корой, так настойчивы эти поцелуи.

У самого перрона стоит гимназист. Но сейчас он не гимназист. Он член «Бильдерлингсгофской¹ вольной пожарной дружины». Понимаете? Вольной! В этом что-то есть. Может быть, какое-то странное предчувствие будущей вольности. Будущей свободы. На гимназисте, на вольном пожарном, белая куртка. Со значком. Тужурка из чертовой кожи. Не пугайтесь. Так называлась тогда эта толстая, белая, чрезвычайно белая, ослепительно белая материя. Сегодня гимназист понесет большой букет сирени на Иоменскую, 3 или 5. Все равно. Даже если 55, то тоже все равно. Ибо все хорошо вокруг, и гимназисту 16 лет и он пойдет в сад Горна, где так прекрасно шуршит гравий, — особенно когда переставляют стулья и чуть волокут их по гравию. Вечером у Горна фонарики и дирижер, специально приехавший для этого из Гельсингфорса, играет — что? Ну, отгадайте. Bravo! Отгадали. 2-ю рапсодию Листа. И в начале второго отделения (разумеется!) увертюру «1812 год». С колоколами.

Недаром все остановились и больше не шуршат по гравию и стоят за скамейками и в проходах и слушают. Там у Чайковского в одном месте — даже в двух местах, даже в трех — есть кусочек Марсельезы. Вы помните? Превосходный кусочек. Трубы взвиваются. Скрипки взмываются. Задыхается гобой и корнет-а-пистон, серебряный и торжествующий, рвет воздух, словно это переход через Неман, словно это действительно 12-й год и тут же на бугре стоит и смотрит на переправу маленький корсиканец. «Vive l'Empereur!». А в третьем отделении Зуппе, Донницетти и заключительный марш «Под двуглавым орлом» . . .

А куда ехать завтра? Может быть, дальше? За Карлсбад², еще дальше? Там тихо. Я предлагаю доехать до Шло-ка. Я любил этот спящий, приземистый, славный городок. Чистая ровная улица. И маленькие домики, все в один этаж, и аккуратненькие подъезды. И если захотите позвонить, то для этого есть не глупые кнопки электрических, рокочущих, брякающих новшеств, а честная ручка, которую нужно дернуть. Тогда от рычага к рычагу натянутся куски (пролеты) проволоки и заболтает медным языком гостеприимный коло-

¹ Ныне — Иманта.

² Ныне — Дзинтари.

¹ Ныне — Булдури.

² Ныне — Пумпури.

кольчик. И где-то в задней комнатке залает ответно собачонка.

Если идти дальше, то налево трактир. Там можно сыграть в пирамидку. Биллиард с лузами. Потом пошли какие-то ученые французские биллиарды с бортами сплошь. Разве это игра? Тюрьма это. Забором все обнесено. То ли дело в наше время: «От борта в угол. Режу восьмого в середину от шара». Вот это была игра.

Рыбаки приходили по воскресеньям (в черном) в Шлок, брали корявыми пальцами стаканы из толстого стекла, заполненные янтарным пивом с пеною сверху, курили и молчали.

Молчали очень долго.

Курили очень много. Крепкий табак из трубок.

Путь из Шлока в Каугерн — обратно. Засучив штаны, мы шли этот большой кусок мимо какой-то клуни, мимо заброшенной и заколоченной (как страшно! подходит для Ника Картера!) корчмы. Шли босиком. Иногда камешек

резал ногу. Ласковая хвоя бархатно шелестела под голой подошвой. Пели и шли.

Шли и пели.

И не знали, что песне скоро конец. Что скоро среди этих самых сосен (этих самых!) вклянут на передках орудия с упрямыми хоботами, и люди в острых касках с одной стороны и русских бескозырках с другой начнут командовать: «Прицел! Трубка! Пли!» И вот эта сосна будет вывернута. И здесь откроется воронка, зияющая яма.

Мы не знали всего того, что наступит. Наше детство было неомраченным. Пели мы «Стрелочка», шли босиком по тропинке, и когда доходили до Каугерна, море уже темнело и чуть шелестело. Но ласково, по-доброму.

Все тогда было ласковым.

И что в жизни ласки вовсе нет, что о ней знают только дети и поэты (а поэты ведь вымирают, — а дети ведь подрастают) — мы узнали много позже.

Сергей Горюнов

ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ ВОПРОСОВ

ОБЗОР ЛАТЫШСКОЙ ПОЭЗИИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

На расширенном пленуме правления Союза писателей Латвийской ССР 1 и 2 июня 1988 г. не было разговора об искусстве. Тем не менее, оценивая ситуацию в республике, наш самый сильный в настоящее время критик Арнольд Клотньш в числе прочего высказал следующую характерную мысль о современной латышской поэзии: «Не обращали ли вы внимание на то, сколько энергии отнимает у латышских поэтов и песенников кажущаяся само собой разумеющейся идея — утверждение национального равноправия своего народа?! И столько же духовной энергии тратят слушатели на переживание этой идее. Это необходимо, поскольку народ испытывает угрозу деформации своей национальной структуры. Но если говорить объективно, в этом необходимом вечном возвращении к родине тема часто препятствует дальнейшему продвижению искусства в иных сферах более сложных заключений, где свободно чувствуют себя те культурные нации, которым не надо больше заботиться о своих элементарных правах. Почему наш народ осужден до сих пор тратить большую часть энергии на защиту своей духовной организации? И где взять ее на все остальное?»

И действительно, рассматривая наиболее характерные направления поэзии 80-х годов, мы также не можем уклониться от этого вопроса, поскольку нам окрашен и круг популярных тем и идей, и особенно важные образы, и поиски стиля (новаторские или — напротив — подчеркнута традиционные, опирающиеся на гармонию латышской

классической поэзии). В статье я попытаюсь проанализировать не только стремление к утверждению национального равноправия, но также проблему национальной самотождественности в поэзии и по отношению к современному человеку и, оглядываясь на прошлое народа, к положению латышей и осознанию себя в разные века. Тем более, что при таком взгляде в прошлое эти мучительные, беспокойные, временами самобичующие вопросы и о латышском национальном характере, месте латышей в мире как таковым, и о нашей сегодняшней роли в этой цепи отношений являются наиболее насущными и характерными в современной поэзии. Замечу, что почти полностью вне статьи останутся произведения наших романтических лириков (В. Криле, Э. Плаудиса, М. Бендрупе, Л. Бриедиса и многих других), в которых национальная самотождественность проявляется как уже нечто данное, а не как проблема, — проявляется в стиле и мироощущении, но не в вопросах, поставленных в этой поэзии. Необходимо также добавить, что вопрос о правах народа, о праве на духовное существование не был поднят только в восьмидесятые годы. То в большей, то в меньшей степени этот вопрос существенно формировал лицо поэзии уже с шестидесятых годов, когда он впервые за советский период был существенно осознан и прочувствован и в пейзажной лирике (национальный пейзаж и традиционное ощущение природы как гарант этой самотождественности), и в новом отношении к

фольклору, и в мотивах отечественной истории. Следует также отметить, что стремление к национальной идентичности и ее самоизъявлению обычно выдвигается на передний план в период соответствующего «национального пробуждения» народа — для латышей это середина и вторая половина прошлого столетия, когда все эти вопросы были действительно характерными, даже центральными для поэзии. В этом отношении многие моменты современной поэзии сродни младолатышской, народнической романтической поэзии. Это, во-первых, мысль о том, как народу существовать, выстоять против угрозы уничтожения. Во-вторых, статус поэта как труженика просвещения, полномочного представителя народа — он редко имеет дело только со своим искусством, но от него ждут ответа на все насущные для общества (экономические, экологические, демографические, исторические и культурные) вопросы. В-третьих, ориентация на фольклор как основу национальной самостождественности. При этом — обостренный интерес к истории; и здесь круг вопросов, в отношении которого писатели и поэты долгие годы находились в оппозиции к официальной исторической науке (еще одна параллель с младолатышами — те в свое время представляли оппозицию по отношению к балто-немецкой историографии).

Обзор поэзии 80-х годов я начну со стихотворения трагически ушедшего Клавса Элсберга «Большой огонь». Элсберг был ярким талантом в новом поколении поэтов, его первая книга вышла в 1981 году, а в 1989-м автору исполнилось бы тридцать. Это стихотворение выбрано потому, что ситуация в нем дана под углом зрения молодого поколения — того поколения, которое будет активной силой ближайшего десятилетия, — и еще потому, что это произведение отмечено многими чертами, наиболее характерными для новой поэзии.

Большой огонь*

1. Подросток

Только пламя; я больше не вижу,
что горит.

* Стихи и стихотворные цитаты даны в переводе Г. Гондельмана.

Слишком поздно я в мир

пришел.

Мне все равно. Могу и наслаждаться
этим зрелищем.

Люди с ведрами не в состоянии
сказать мне, что гасят.

2. Старик

Только пламя; уже не помню,
что горит.

Еще и огненный вихрь мне на шею.
Еще и стрелам надо с треском
разгораться в моих глазах.

Еще один день страшного суда мне
снова надо выдержать.

3. Оратор

Товарищи, то, что здесь было,
мы теперь построим из пламени,
поскольку, во-первых, жарче уже
не будет,

во-вторых, сгорая не сгорит,
в третьих,

пламя всячески вьется, поэтому
мгновениями, может, будет
заметно

и то, что здесь было ранее, —
неизвестно, что, но в облике
благородном.

4. Тогда подросток туда же кинул
горсть песку.

Сам образ «Большого огня», кажется, комментариев не требует. У русского читателя он, вероятно, будет ассоциироваться с «Пожаром» В. Распутина, где заглавие и ситуация одновременно и реалистически конкретны, и символически обобщены. Характерно, что стихотворение построено как сопоставление многих точек зрения (монологов подростка, старика и оратора) и что заключительная фраза — единственная авторская ремарка — оставляет ситуацию открытой: присоединяется ли подросток этим жестом к безумствующим гасителям огня, или бросает свою пригоршню песка в открытую могилу — это каждый может представить по-своему в зависимости от того, насколько он пессимист или оптимист. Весьма распространено в современной поэзии и это включение различных точек зрения в одно, обычно небольшое по объему, поэтическое произведение (уже в начале 70-х годов И. Аузинь теоретически рассматривал эту форму как промежуточный жанр между лирикой и лироэпикой и назвал ее лиродрамой; другие исследователи говорят в связи с этим о многоголосии, полифонии в поэзии и почти полном отсутствии авторского голоса). Как и в этом произведении, так и во всей се-

годняшней латышской поэзии на вопросы нет более ни готовых ответов, ни надежных заверений. И более всего — в особенности младшее поколение поэтов избегает власть в эту ораторскую позу, хотя с незаметным, может быть, очень желанным (пусть с большим социальным оптимизмом) жестом есть соблазн опуститься до уровня этого вечно оживленного, конъюнктурно-резвого щебетания, которое уже лет в десять вызывает в людях совершенно физическую аллергию. А поэтому закономерно, что автор не присоединил к стихотворению еще и свой монолог, в котором было бы изложено, что за ценности на самом деле сгорают здесь. С одной стороны — это и так общеизвестно (эмоциональным порывом и непониманием того, куда пропали нравственность и доброта, присущие латышам в работе, почему растет преступность, распадаются семьи и т. д., республиканские газеты полны уже лет десять). С другой стороны — слишком много того, что неизвестно, годами замалчивалось, до конца не постигнуто и не осмыслено; и если уж произносить слова, то это должны быть с лихвой оплаченные, толнозначные слова, а не всего лишь сотрясение воздуха. Слова в поэзии 80-х годов сдержанны, расприраемы скрытыми противоречиями. И если в начале статьи я сравнивала ситуацию со временем национального пробуждения, то тяжесть и натянутость этих внутренних противоречий является тем, что разделяет обе эпохи. Если Юрис Алуан мог с чистым сердцем писать: «Латыши, вас уже ожидает рассвет . . .», то на исходе XX века поэтам трудно сохранять столь дерзостную веру, что рассвет действительно все еще впереди. Младолатыши были первыми, кто на латышском языке произнес «народ», «свобода», «рассвет», «будущее» — в их устах эти слова были цельными, как только что обожженный кувшин. У сегодняшних поэтов больше нет этой первоизданной свободы — все эти понятия молоты и перемолоты множество раз и по различным поводам. Поэтому «муки слова» для современных латышских поэтов не только совершенно закономерная часть психологии художественного творчества при стремлении по возможности адекватной облечь в слова самые неуловимые движения души, но также и социально и исторически обусловленный сизифов труд: снова вкатывать на вершину ка-

мень, который уже бесчисленное число раз скатывался вниз, и надеяться, что на этот раз он все-таки останется на вершине. Что в этот раз «свобода» будет действительно означать свободу и ничто иное. Если слова изношены не только в поэзии, но и в других сферах жизни — их девальвация в одной области неизбежно затронет и другие. Может быть, вследствие этого мучительного, этого неосознанного сизифова комплекса в современной латышской поэзии столь популярен образ камня — например, у Имантса Зиедониса серый камень — латышское солнце, солнце, таким светом светящее, что не рассказать — «так еще более по-латышски надо говорить».

С тем же самым — девальвацией непосредственного, понятного слова, приглашения, утверждения, призыва, думается, связано также уже упоминавшееся многоголосие, которое иногда сформулировано ясно и наглядно (как в цитированном стихотворении), но в большинстве случаев формально даже незаметно и проявляется как скрытые цитаты или как различные, отдаленные стилистические принадлежности в столкновении слов, в одном стихотворении, в одном образе (это характерно для Я. Рокпелниса, М. Мелгалвса, Э. Зирниса, И. Зандера и других. У последней, к примеру, есть такой образ, как «асфальт родного неба», — это могла бы быть и точка зрения отчаявшегося и отчужденного городского ребенка, и реакция на разговоры о родине). Приведем еще стихотворение М. Залите: «Зачем рыдала, ах, прекрасная Стабурага. Вот волны голубы тяжелые склонили над тобой. Вот видишь, не оставили тебе То горькое рыданье». Стихотворение называется «Память о романсе», первая строчка в нем почти точная цитата из популярной народной песни (уже не из какой-нибудь малой или великой песни — произведения искусства — нет, из сентиментального народного романса), но дальнейшие строки являются отсылкой на затопление древнего русла Даугавы под Кокнесе, при котором был уничтожен и утес Стабурагс. Это был один из первых «шагов великого преобразования природы» в республике, против которого тогда, в начале 60-х годов, отчаянно протестовала часть интеллигенции. Так реальный исторический факт — затопленный Стабурагс — вписывается в мотивы предания о за-

топленном замке, дополняя и утверждая внутренний реализм этой народной сказки. Мифологически сказочное получает подтверждение в наиповседневнейшем, по-деловому техническом настоящем — такова интересная закономерность, и, может быть, поэтому в искусстве XX века наблюдается усиливающийся интерес к мифам. Интерес к видению мира древними мы также встретим в латышской поэзии — но об этом позже. Пока что укажу на некоторые характерные черты, которые присущи не только этому стихотворению М. Залите. Во-первых, это интровертированный диалогизм, сотканный из намеков и аллюзий, ясных для пишущего и читающего эту поэзию, но требующих обширных комментариев для «человека со стороны», представителя другой культуры и других условий. При этом зачастую диалог ведется не только с читателем, но и с культурными предпосылками, выводами, верами и иллюзиями ближнего или дальнего прошлого, предыдущих столетий или десятилетий. В процитированном стихотворении М. Залите это заключенная в сентиментальной песне вера в вечность «плачущей Стабураги». В других случаях партнером этого скрытого диалога может служить цитата из народной песни, факт из жизни, великий урок прошлого. Так, У. Берзиньш обращается к Райнису, одному из первых популяризаторов марксизма в Латвии, великому диалектику в своем искусстве: «Что, гениальный популяризатор! Как в ямы не упасть, что вырыл нам Господь? Как, превращаясь, стать собой?» В свою очередь поэма М. Мисини «Узтургайсма» (Хранящий свет) переводит этот диалог в обе упомянутые плоскости: в нее вмонтированы цитаты из читательских писем, записок, вопросов — и собственно части поэмы, которые даны как попытка поэтессы найти ответы на читательские вопросы, в свою очередь насыщенные новыми вопросами, обращенными к ходу истории латышского народа.

И вторая особенность — очень часто эти произведения окрашиваются иронией, но не та пресловутая романтическая ирония, которая свидетельствует об игре свободного духа, и даже не насмешка (хотя бы и редуцированная, незаметная и интеллигентная). Скорее всего ее можно было бы охарактеризовать как специфически латышскую новизность отчаяния, когда в поэзии

сталкиваются осознание уловленной ситуации иррационализма, абсурда и укоренившаяся в кодексе национального поведения добродетель сдержанности, предчувствие, что тот, кто кричит и причитает, тот рушит последнее пристанище мира, последнюю точку опоры в этом мире — самого себя.

Итак, вопрос — кто ты, современный латыш, какие уроки истории ты несешь в своих генах, являешься ли ты продуктом обстоятельств или ты свободная самость, которая может противостать обстоятельствам и создавать их согласно своей внутренней мере, согласно своим представлениям о зле и добре? «Это нелицеприятный вопрос: кто — мы? / . . . / От чего это предчувствие — нас наши веди осудят?» (М. Мисиня). Последний вопрос уже содержит ответ в себе самом. «Ты — звено цепи», — говорит М. Залите — но «несовершенство органов чувств / заставляет тебя томиться в неизвестности — / с какой целью, / с какой целью . . . / кто ты — / драгоценность / или оковы». Можно было бы привести еще множество примеров (хотя бы стихотворение И. Зиедониса о человеке, ощущающем себя камнем, который неизвестная рука швырнула в чужое окно; стихотворение Я. Рокпелниса о гвозде из подковы, который скачущая лошадь бьет о мостовую, но на лошади скачет неизвестный всадник — и «нет у гвоздя решающего голоса»). Можно еще упомянуть нарисованный К. Элсбергом в духе «черного юмора» портрет современного латыша: «храни кожу от малых дней / храни кожу как девушка честь / кожа твоя отчизна латыш / храни ее крепко и не опрокидывай горшки». Все же ясно одно — даже принимая во внимание, что латышскому самосознанию вообще присуща всякая самокритичная направленность, такое сгущение этих мотивов в поэзии 80-х годов свидетельствует о сознании глубокого социального и нравственного кризиса, кризиса, в котором несчастье отдельного человека — отчужденность, потеря индивидуальности — соединяется с несчастьем всего народа, поскольку человеческая самооткровенность и национальная идентичность — всего лишь две стороны одной медали — и потеря одной, оказывается, несет с собой и потерю другой. Вот почему сознание этого кризиса характерно и для лирики индивидуально психологической, что — особенно в поэзии — раскрывает дра-

матизм духовности, драматизм сохранения души в «холодном мире», и для произведений публицистического направления, рисующих обстоятельность и портреты и отыскивающих исторические закономерности. Из последних в качестве наиболее характерного надо отметить сборник Я. Петерса «Таутаскайтишана» (Народная перепись). Здесь собраны и представлены самые различные отклонения от естественного образа жизни: начиная от алкоголизма и кончая культом вещей; рядом с этим и как противоположность, противодействуя этому, конечно же, и живой, здоровый человек, яркие личности, та основа, на которой возможны возрождение и вера в будущее. Петерс может быть даже саркастичным, но в основном он все же поэт позитивного, активного пафоса — и потому интересна сверхзадача всенародной переписи: не вычеркнуть ни одного — и этот сломанный, погибший, остолбеневший есть часть народа, и для поэта невозможно отказать от ответственности за него. Замечу, что это направление — и тематически и эмоционально затрагивающее отношение — присуще еще многим поэтам. Например, У. Берзиньш пишет о погибшем в болотах Белоруссии легионере, о наблюдателе, который остался на берегу, после того как последняя лодка ушла в море. В общей сложности можно было бы сказать, что поэты хотят осознать, пережить и воплотить в слове судьбы своего народа, которые при всем при этом состоят из конкретных человеческих судеб, по возможности полно, не ограничиваясь только «хорошими» и «правильными» (тем более, что сегодняшние «правильные» часто завтра оказываются не правы и наоборот). В аспекте национального характера и национальной самоидентификации есть известная гарантия того, что поэзия не рисовала и не собиралась рисовать лестный образ народного самосознания — что было бы приятным, но не более чем иллюзорным выходом из кризисной ситуации.

Возвращаясь к проблеме вины и ответственности нашего поколения в поэзии 80-х годов, хочу обратить внимание читателей на один очень характерный и существенный мотив — **мотив немоты, безмолвия**. У него есть своя история, интересная линия развития, тем более интересная потому, что он осознается как один из черт истории ла-

тышского народа: долгие столетия латышская история нема; здесь, на земле, где мы живем, протекают интенсивные исторические процессы, беспрестанные военные походы, смена власти — а «народ безмолствует», не оставляет никаких свидетельств о своем отношении к этим событиям, словно он и не заметил их — быть может, в соответствии с формулировкой М. Элиаде, спасаясь от «ужасов истории» в своей фольклорной космологии. В конце 60-х годов В. Белшевица в стихотворении «Рига молчит» открыла мотив этой исторической немоты и оценила эту немоту как силу: «Тленному надо кричать, оправдываться, доказывать. Вечное может молчать». (Административные ценители литературы, совершенно справедливо различив в этих строках оппозицию своей шумной и оживленной деятельности, не замедлили квалифицировать ее как исторически неверную. Но это так, между прочим.) В 80-х годах В. Белшевица возвращается к этой теме исторической немоты в книге «Дзелту лайкс» (Время уязвленных), особенно в цикле «Лайка раксти» (Очерки времени), который охватывает некоторые, всегда точно датированные события начиная с XIII века, когда Орден меченосцев понемногу подчинял живущие в Латвии племена, и кончая разгромом революции 1905 года. Цикл пронизывает мотив борьбы двух противодействующих сил — власти и духа, — и безмолвие, немота выступает в этой борьбе в двух противоположных ипостасях: и как свидетель потенциальной силы, внутреннего сопротивления, и как показатель внутренней пустоты, апатии и самоотречения. Особенно наглядно это видно, если мы сравним два стихотворения о Янисах: «Укроясь в папоротнике, Янис...», где народ прячет свои святые от чужих, недобрых глаз (время действия стихотворения — XVIII век), и «Белая нить» — наши дни, 80-е годы XX века, где «немые Яновы дети в черной чешуе копти» топят в стаканах с горькой позором самоотчуждения, предательства. Немота, молчание непосредственно в этом смысле звучат в произведении многих поэтов. Например, В. Авотиньш в книге «Лезена мужибя» (Пологая вечность) этическую последовательность молчания характеризует так: «Перед тем как Иуда идет, идет великий молчальник / и в каждый рот влагает леденец». М. Залите: «Как не развернется

земля, / как может вынести нас таких, зачем горький опыт / ставит ртам впереди решетки / и новые неумоимо опять кует. / И тяжелое сердце / волочит слово назад». У. Берзиньш рисует классический портрет «мирного латыша»: «ты, Петерсон, любитель выпить и отец двоих детей, ты, не дерзаящий, ты, на работу не опаздывающий, ты, анекдоты разносящий, но рот придерживающий / это так: к тому же со школьной скамьи, это так: я не сомневаюсь» — и он приглашает этого самого мирного латыша: «Проверь, застегнут ли перед, стул отодвинь, вставай, учти: другой не встанет, другой не откроет рот, Петерсон». Таким образом, можно сказать, что в самых различных стилистических произведениях поэтов в восьмидесятых годах проявляются одни и те же этические и психологические проблемы, и что — невзирая ни на какие смягчающие обстоятельства — поэты сознают трагическую вину нашего поколения перед прошлым и будущим народа, и имя ей — молчание.

Теперь рассмотрим некоторые образы, в которых уже в степени символа сосредоточены корни национальной самотождественности и трагизм их распада. Надо отметить, что во всех этих образах сочетаются реальность архетипическая и сегодняшняя, хотя в произведениях различных поэтов эти пропорции различны. Наиболее распространены и самостоятельными из этих символических сказуемых национальной самотождественности являются дом, язык, народная песня. Значительным мне кажется также — частично уже рассмотренное в связи с мотивом исторической немоты — отношение к тем немногим моментам истории, когда латыши активно участвовали в формировании истории (насыщеннее всего — в теме стрелков) и вывод о созидательном труде народа как о творце «неофициальной», настоящей истории.

Первые — и в художественном отношении до сих пор непревзойденные — произведения, посвященные латышским стрелкам, появились в Латвии в 30-х годах: это были баллады Я. Медениса и поэмы «Мужибас скартие» (Осененные вечностью) А. Чака. А. Чак блестяще формулирует историческую роль стрелков в ходе подавляемого пробуждения народа, они представляют голос немного народа на арене истории: «Стрелки — раскаленная лава

семьсот лет заглушаемых душ народа крестьян, оглушительный крик, отозвавшийся во Вселенной». В послевоенные годы «тема стрелков» возродилась в 60-х годах, когда происходила реабилитация жертв культа личности и общество узнало о многих именах и судьбах борцов, погибших в Советском Союзе в 30-е годы. Из произведений этого периода как одно из сильнейших можно отметить «Письма полковника Вацетиса». Однако этот процесс реабилитации, выявления подлинной истории прекратился, и в 70-е годы тема стрелков развивалась в духе направлениях. Первое можно было бы назвать эмпирически описательным — воспеваются все новые факты и эпизоды сражений, иногда яркие и образные, иногда заурадные. Второе направление — «стрелки» и связанная с ними атрибутика (охрана Ленина, солдаты Революции и т. д.) все более символизируются, стремятся превратиться в знак и в конечном счете — даже в затасканное клише. Органичнее всего, как кажется, этот символизированный образ стрелков вошел в поэзию Я. Петерса 70-х и 80-х годов, которой свойственны, как я уже отмечала, органический пафос и способность рассматривать свой народ в широкой взаимосвязи времен, в контексте европейской и мировой истории. Тем не менее неоспоримо, что правда и на стороне И. Зиедониса, который уже в 70-х годах писал: «И за все — оставьте в покое отцов, которые боролись и ныне спят. Не возлагайте ради своей славы на голову Их святые надгробные венки». Во всяком случае ясно одно — в будущем наша поэзия, по всей вероятности, еще вернется к этой теме, но это потребует и, надо надеяться, породит новое понимание, в совокупном труде истории и субъективных устремлений людей, более углубленных и при этом охватывающих большую перспективу. Потому что трагизм пути стрелков, возможно, более глубок, чем мы сегодня осмеливаемся себе признать.

Однако наряду с этим традиционным пониманием истории войны, борьбы и политики уже с 60-х годов развивалась и другая линия, которая во главу угла ставила каждодневный созидательный труд народа как творца истории. Истоки этого — в поэзии И. Аузиня, В. Людена, Я. Петерса 60—70-х годов; в 70-е и 80-е годы в поэмах И. Зиедониса «Поэма о молоке» и «Виддивварпа»

это развивается и становится самобытной философской системой. Труд крестьянина как идеальный, духовно приемлемый вариант отношений между человеком и миром был характерной темой для поэзии 30-х годов, к примеру у Э. Вирзы, Я. Медениса. Не было недостатка в прославлениях героизма и чести и портретирования людей примерного труда в поэзии 50-х годов (правда, акцент здесь сместился на внешние качества — славу и чисто практические результаты). В произведениях упомянутых поэтов, особенно в творчестве И. Зиедониса, в некотором отношении продолжая эту столь существенную для латышской поэзии тему, поднимаются более глубокие пласты смысла. Как бы ни были весомы войны и военные победы, однако они ничего не создают, в лучшем случае — защищают свое, в худшем — отнимают чужое. Поэтому в поэзии Зиедониса главным предметом истории становится созидательный труд народа: только он делает пространство родиной, придает природе и создаваемым вещам черты лица народа (образ природы как сказуемого национальной ментальности в латышской поэзии мог бы быть темой для особой статьи — причем воздействие здесь двустороннее, потому что ни лес, ни море в нашей поэзии не являются «первоначальными», но подверженными влиянию человека). Труд — это то, что объективирует в понятии духовного дома человека. Поэтому также в поэме «Вид-диварпа» И. Зиедонис рассматривает Юмиса — символ древней земледельческой культуры — как саморазвивающееся единство стабильности и изменчивости (что можно было бы сравнить с «органическими символами» Райниса; Юмис вырастает из внутреннего). Поэтому поросшие ольхой гектары пахотных земель на полях Латвии воспринимаются и раскрываются поэтом не только как горестный пример бесхозяйственности, но как угроза и ущемление духовности народа. Потому что для него пахарь тот, через кого проходит линия равновесия мира, кто не только обеспечивает нас телесной пищей — хлебом, но держит в равновесии строение мира.

Этому пониманию человека, тесной близости понятий труда и родины, проявляющейся в понятии дома, есть глубокие корни в народном латышском восприятии. «Двор отца» или «двор

брата» в народных песнях — это центр обитаемого мира, место с высшей степенью упорядоченности, гармонии, где обитают и боги, и где полезное, хорошее и красивое существует в единстве, еще не разделившись и не оказавшись непримиримо противоположными. Внутренняя потребность в гармонии этих трех ценностей, их совместного существования, думается, есть существеннейшая черта латышской ментальности, и распад этой гармонии в реальной жизни современной Латвии является одним из глубочайших источников чувства потерянной родины, потерянного дома, внутреннего трагизма как в ежедневном сознании человека (даже если этот человек обеспечен жилой площадью в пределах нормы), так и в современной поэзии.

Оттого и в поэзии 80-х годов образ заброшенного, обрушившегося дома, как я уже отмечала, с одной стороны — чистейший реализм, с другой — опирается на фольклорный архетип и становится трагическим символом бездомности человеческой души. Как пишет О. Вацietис: «И сами от своей безбиографичности / Растворяемся в Этнографическом музее». Из произведений 80-х годов я выделю драматические картины разрушенной родины из сборника В. Белшевицы «Дзелту лайкс», особенно «Реквием сетай» (Реквием по крестьянскому двору), элементы вины и исповеди в насыщенных панихидами сборниках А. Ранцане «Молитва дому» и «Пятница». И совсем в ином стиле — интонационно бесстрастные портреты старых одиноких людей и заброшенных, разрушенных мест Ю. Кунноса, которые точной пластической рельефностью деталей и одновременно абсурдностью и нереальностью ситуации напоминают мучительный сюрреализм страшного сна. Надо упомянуть и увиденные глазами молодого поколения поэтов, «городских детей», индустриальные джунгли, наступление убивающих своим серым однообразием коробок в новых массах Риги (цикл К. Элсберга «Плявниекс») и др.

Главный нерв пафоса поэзии О. Вацietиса 70-х годов — это защита жизни и личности и в природе, горькая ирония над самоуничтожающим марафоном общества потребителей, над гротесковым самосознанием технократического человека, полагающего себя «венцом творения». Интересно, что даже в его

творчестве появляется образ дома как символ духовной жизни народа — в стихотворении «Райнисовское». По ритму оно повторяет одно из известнейших стихотворений Райниса «Была глубокая зима . . .», в котором отправляемый в ссылку Райнис прощается во своей спящей глубоком сном (сном духовного оцепенения) родиной. Райнис отправляется «в дальнюю землю, к чужому дому». У Вацетиса:

За краем неба
к веянию веянье,
к ветру ветры,
и копится буря.

Камыш на крышах,
из стен дощатых,
из стекол хрупких
домишки наши.

И сами слабы . . .

Параллель здесь не буквальная, а скорее обратная — образ и символ бури у Райниса позднее (в сборнике «Посев бури») явится как целиком позитивный, исполненный силы: буря расшевелит, расрясет уснувшую родину, приготовит землю к новому посеву. Тем не менее времена меняются, и наоборот уже слишком много — остается собирать и накапливать силы не для нового бушевания, а для защиты, сохранения, продления жизни своего дома с тростниковой крышей.

Мощнейший пласт национальной самостождественности, который можно было бы обозначить как духовный дом человека и который в современном культурном сознании все еще жив и активен, это фольклор. Латышская поэзия обращалась к нему регулярно (наиболее яркие периоды — народные романтики, Райнис), и в поэзии 70—80-х годов он также играет активную роль. Попробуем кратко сформулировать, что современная поэзия ищет и находит в фольклоре. Во-первых, конечно же, сознание своих корней, убежище в ситуации, угрожающей духовности: «Мы приходим из темной ночи, мы приходим из трав зеленых. / . . . / Когда отчизна раздроблена, / Песня нам будет отчизной» (М. Залите). Поэты ищут и находят в фольклоре и все знакомые и любимые образы, которые благодаря этому можно использовать в эмоциональном отношении как безошибочные и действенные сигналы,

а также этический закон и особую целостность (может стать и так, как саркастически пишет В. Авотиньш в стихотворении «Простой»: «Ни шить свое, ни ткать свое нет смысла — / в одежде предков может быть тепло; / так древность окропляет древней силой, / что скреет нашу пустоту и ложь»). Главных направлений, в которых происходит не репродуцирование фольклорных ценностей, а творческое преобразование, на мой взгляд, два. Об одном я уже немного говорила — современные поэты используют древнейшие, мифологические фольклорные элементы (но не богов, как народные романтики, а структурные элементы картины мифологического мира — дерево, камень, дом, путь, река и др.) и окунают их в сегодняшней «реализм» — реализм духовной жизни человека, психологических условий или социальной жизни. Много подобных стихотворений у К. Скуениекса, Л. Бриедиса, М. Залите, у других авторов. Упомяну принадлежащее М. Залите: «Под кожей земли струятся тихо реки. Здесь под землей только их служанки. / . . . / они питают нас иначе, / Когда взор Даугавы замаслен, блекл». Мотив мифической подземной реки широко известен в фольклоре многих народов. В свою очередь и у Даугавы в части народных песен есть ясно выраженные мифологические черты: она «полна милыми тенями», за Даугавой «высокие холмы», «темные леса», где Солнце вешает свой пояс, и т. д. В свою очередь психологическая ситуация стихотворения, крайне утилизированный тусклый и замасленный взгляд (вид) Даугавы и другие детали из уже описанной сегодняшней реальности. В других произведениях других авторов эти конкретные отношения иные, но во всех случаях создается контрапункт внешней и внутренней реальности, стереоскопический образ, причем на идеальной внутренней реальности лежит печать коллективного опыта.

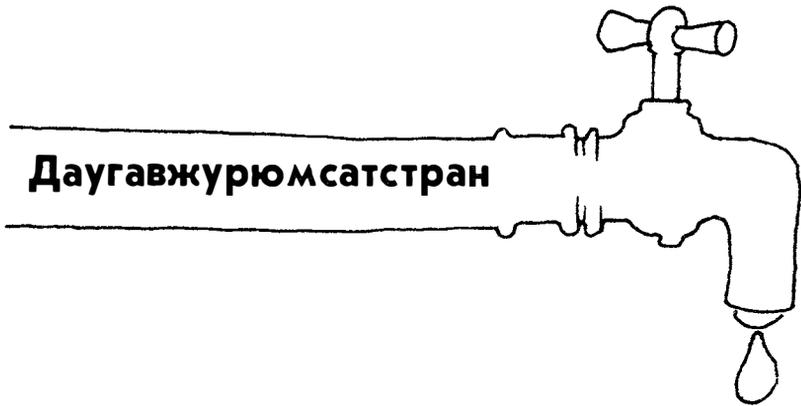
Второе направление — дальнейшее развитие народного мировоззрения в современных условиях. Существеннее всего это проявляется в поэзии И. Зиедониса — в очерке «Ты жила великим трудом» (о фольклорной богине судьбы Лайме и понимании счастья в народных песнях), и в уже упомянутых поэмах и в стихах, особенно в цикле «Кунгс ун калпс» (Господин и слуга). Зиедонис в отношении к фольклору выдвигает

на передний план не совокупность «добрых нравов» (что достаточно бесперспективно, поскольку, желая или не желая, поэт, который описывает и восхваляет фольклорную этику, начинает повторять общеизвестные истины, например, что нравственность труда — это большое дело и что перенять ее не повредило бы и современному человеку). Зиедонис подмечает и выделяет функциональные линии фольклорного мироздания, в которых важно найти свое место как отдельному человеку, так и обществу, и это место, согласованность человеческой воли и силовых линий мира уже сами тогда создадут хорошие нравы, особенно не рекламируя их. Очень важен вывод поэта о том, что ритм это не только эстетическая, художественная, но и универсальная — организующая жизнь, природу, Вселенную — категория. Культ положительной духовной энергии, сила добрых мыслей в гармонизации себя и общества. С этим также связано сдержанное отношение Зиедониса к трагическому в искусстве — «трагедия — это конфликт, болезнь», не высокая, к которой следует стремиться людям и художникам; столь же сдержанно автор оценивает и чисто эмоциональное, опирающееся на страдания и жалость искусство: «слезы уносит от нас / и ничего не приносит», поэтому «и стихотворение, что на слезах построено, / также тщетно». В своей эмоционально и образно аскетической, философски направленной лирике последних лет Зиедонис продолжает вопросы и ответы второго периода творчества Райниса (который начинается сборником стихотворений «Конец и начало») о назначении человека в эволюции Вселенной, о соответствии души и природы, о новом типе героизма — тонком и духовном — как противопоставление героям предыдущих веков — людям власти, силы (таков побеждающий силой духа Слуга в цикле Зиедониса «Господин и слуга» — человек, девиз которого «Я должен делать свое, Высочайший, там, куда не достигают ни твоё зрение, ни слух»). Переняв и переработав послышки и выводы народных песен, Райниса и истоки различных мировых культур (в особенности древнеиндийской литературы) для ориентации современного человека, Зиедонис в своем творчестве зовет обрабатывать национальную идентичность и национальные ценности

не как свой маленький садик, а как свою долю в поисках путей развития человечества.

Этим обнадеживающим аккордом я и закончу обзор поэзии 80-х годов, обзор, который, конечно, является далеко не полным — остались неупомянутыми не только интересные произведения, но и интересные поэты. Я сознаю также, что этот обзор поэзии с точки зрения раскрытия проблем не полон даже по отношению к тем произведениям, которые рассматривались и цитировались. Поэтический образ объемлен, и его проекция на плоскость интерпретации — неизбежно односторонняя. В других контекстах он открывается другими гранями. Все же мне казалось важным показать это один, до сих пор почти не рассматриваемый в печати источник отчаяния и надежд латышского искусства, источник его внутреннего напряжения, который тесно связан с жизнью нашего народа, происходящими в ней переменами — стремлением к осознанию и сохранению национальной идентичности. Надо отметить также, что ни один из вопросов, о которых говорилось в статье, не является специфическим непосредственно и только для поэзии 80-х годов — все они появились уже в 60-х, 70-х годах. С радостью можно признать, что у нас были поэты, которые и в самые тяжелые годы были вместе с народом, способные были увидеть, оценить и выразить в слове процессы, происходившие в человеке и в обществе, — хотя и не всегда в столь свободном и точном слове, как нам хотелось бы. Что наша поэзия в это время не только находилась «на позициях обороны» (хотя акцент самообороны, защиты — естественно — есть в поэзии; так же как было, против чего обороняться). Все-таки она смогла дать и новые — и художественные, и человеческие — перспективы и, что мне кажется особенно важным подчеркнуть — в произведениях серьезных художников она не опустилась до дешевой лести народу и до того, чтобы щекотать национальное самосознание. Как раз наоборот — думаю, что в очерке чувствуется, как сильны были акценты самоанализа и самокритики, чувство ответственности.

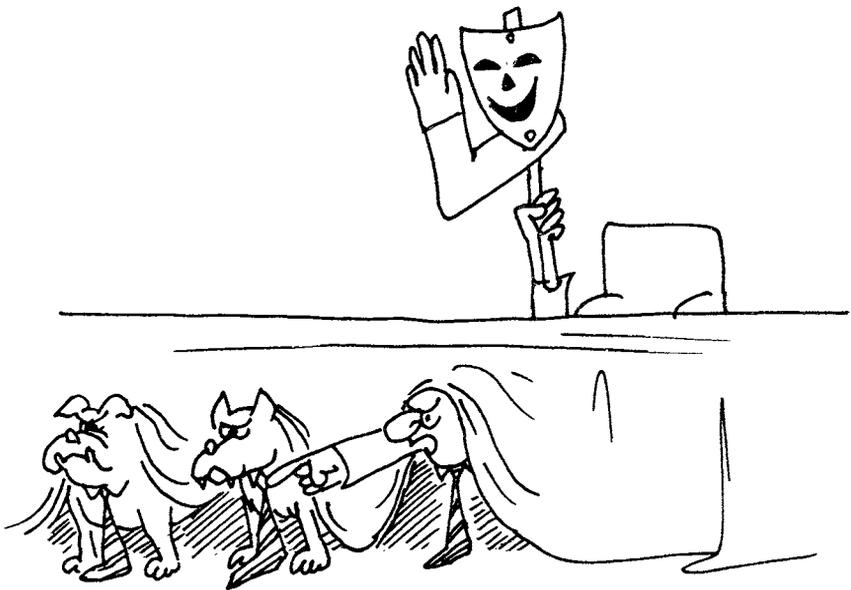
Перевел Григорий ГОНДЕЛЬМАН



«Даугавжурюмса́тстра́н» — это очень просто, это страницы юмора и сатиры журнала «Даугава», это скромная попытка реанимации жанра

Тихо отметил в прошлом году свое шестидесятилетие самый популярный из остроумных латышских поэтов Валдис Артавс. Расцвет его таланта произошел в годы стагнации. Если год службы в армии во время войны равняется двум годам в мирное время, можно считать, что в этом году сатирик будет шумно праздновать свое столетие.

А карикатурист Роман Витковский работает заведующим отделом НИИ Госплана ЛССР. Тут все ясно. Пока его коллеги в рабочее время ждут пенсии, он рисует.



Р.В.

НАМ СТОЯТЬ НЕ ПРИВЫКАТЬ

В очереди я родился,
Рос, терпению учился.
В очереди ел и пил
И, по сути, жизнь прожил.

Подражая с детства маме,
Спрашивал: «А кто за вами?»
Позже преуспел в науке:
«Что дадут? По сколько в руки?»

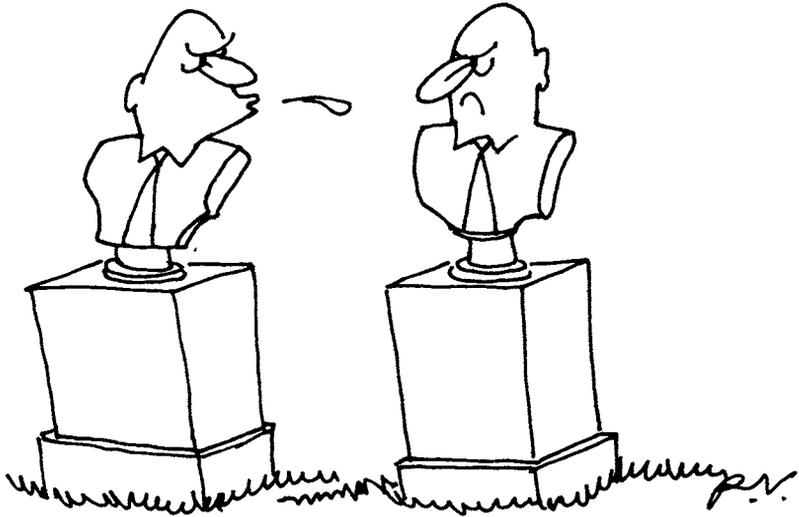
Был то сотым, то двадцатым.
Незаметно стал усатым.
Обзавелся бородой.
Познакомился с женой.

Соловьи для нас не пели.
Я супругу видел в деле:
Если очередь займет —
Мышь — и та не прошмыгнет.

Чтоб хоть что-нибудь достать,
Дотемна могу стоять.
Много выбросят — куплю,
Мало — просто постою.

Жизни без очередей
Нет, как свадьбы без гостей.
Продвигаешься вперед —
Ощущаешь: жизнь идет!

Перевел В. ТЕПЛЯКОВ



Карикатуры Романа Витковского

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — СОВЕТСКИЙ НАРОД!

В 70-х годах партия торжественно провозгласила: «Создана новая общность людей — советский народ». У многих такая формулировка вызывает сейчас возмущения. А по-моему, она точна, если под понятием «советский народ» понимать не механическую совокупность народов, проживающих на территории СССР, а общность людей, воспитанных в духе советской идеологии доперестроечного периода. Советский народ объединяет особый способ мышления. Он, в частности, оригинален по отношению к национальному вопросу. Советские люди считают себя интернационалистами и гордятся этим. В брачных объявлениях таких людей можно встретить фразу: «Национальность значения не имеет». Это очень симптоматичная фраза. Национальность для них действительно не имеет значения в самом широком смысле этого слова.

Когда я сообщила пожилой еврейке-интернационалистке, которая не знает своего родного языка, что организуется еврейская культурная ассоциация, ее первая реакция была такая: «Я туда не пойду». Она так сказала потому, что советский человек считает обращение к национальному в определенной степени предрасудком; по его мнению, в этом проявляется национализм. Такая точка зрения исподволь воспитывалась пропагандой в нескольких поколениях и стала вторым «я» советского человека. Поэтому для советского человека — понятие Родина не связано с национальной культурой в такой степени, в какой оно связано с советской идеологией. Родина для него — это там, где существует советский образ жизни и советский образ мыслей. И поэтому напрасно латыши приглашают так называемых мигрантов вернуться на родину. Они — на своей родине.

Советский человек персонифицирует себя с политической властью. Крайнее выражение этого образа мыслей, характерное для многих людей старшего поколения, — идентификация социалистического строя с личностью Сталина. Именно поэтому, как мне думается, мощное разрушение идеологических иллюзий, которое было начато эпохой гласности — под напором очевидных фактов, их массивности, их неопровержимости, и осознание, наконец, всеобъемлемости зла сталинского и неосталинского режима, явилось для многих, самых честных и самых совестливых и крушением нравственной опоры. Люди просто в отчаянии. Ведь их наивысшими жизненными ценностями были не общечеловеческие ценности, не ценности национальной культуры (разумеется, это — в зависимости от степени интеллигентности — тоже), но, в первую очередь, ценности идеологические — гордость за свою принадлежность к советскому строю!

Не стоит злорадствовать по поводу этих людей. Это их трагедия. Они сами жертвы, нравственные калеки возвращенной Сталиным идеологии. Некоторые начинают сознавать это. Это очень больно. Многие — не осознают. В этих последних и находят опору консервативные силы. Спекулируя на своеобразной интерпретации интернационализма и национализма у этой, весьма многочисленной категории людей, они организуют раскол демократических сил в лице движения Интерфронт.

Схематизируя, я, разумеется, упрощаю этот сложный вопрос. Однако факт остается фактом — у типичного представителя советского народа идеология подменяет национальное самосознание.

Е. РИТИНА

Все это так, но тем не менее политика официального интернационализма не мешала Сталину после войны поднять тост за **русский** народ, что послужило началом «новой волны» репрессий эпохи космополитизма, а проще говоря, антисемитизма, который, так же как и другие формы национализма, процветал на протяжении нескольких десятилетий в союзе нерушимом республик свободных.

Что касается того, что советские люди в отчаянии, то надо сказать, что отчаяние не следует рассматривать как исключительно негативную эмоцию. Вслед за отчаянием, как правило, следует очищение. На этом построены многие шоковые системы психотерапии. Советские люди привыкли жить в «стерильном космосе» — без секса, без мафии, без религии, без коррупции и вообще информации. Естественно, что когда все это обрушивается одновременно, то действует как шок. Впрочем, никто насильно не заставляет читать газеты и журналы, если вы предпочитаете ничего не знать о Карабахе и т. п., тем более, что в этом смысле идеология по-прежнему шадит тонкие нервы обывателя и продолжает в большинстве случаев подслащивать пилюли. Тоталитаризм как психологически сильный тип режима построен именно на культивировании страусиных эмоций обывателя.

Тот среднестатистический «советский человек», о котором говорится в письме, по большей части существует только на плакатах и в качестве анонимного автора лозунгов. Как некая реальная социально-психологическая единица советский человек — это фикция. Можно ли сказать, что академик Сахаров, с одной стороны, и, скажем, Виктор Астафьев — с другой принадлежат одному множеству, которое называется «советский народ»?

Людьми, особенно когда их много, можно внушить почти все, что угодно, но каждый человек в отдельности не может не помнить своих родителей и своих национальных корней, ибо они заложены в его мозге в виде генетической информации. Если бы идеология могла полностью заменить биологию, это было бы равносильно тому, что советские люди представляют собой разновидность мутантов. В какой степени это так, покажет дальнейшее.

Вадим РУДНЕВ

Авторы снимков в тексте: Юрий Абызов, Харийс Бурмейстарс, Сергей Карташов, Гунарс Янайтис.

Сдано в набор 08.12.88.

Подписано к печати 5.01.89. ЯТ 00101.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

Обложка и вклейки — высокая печать.

8,0+0,50+0,25 усл.-печ. л., 14,25 усл. кр.-отт.,

10,96 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 1746. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,

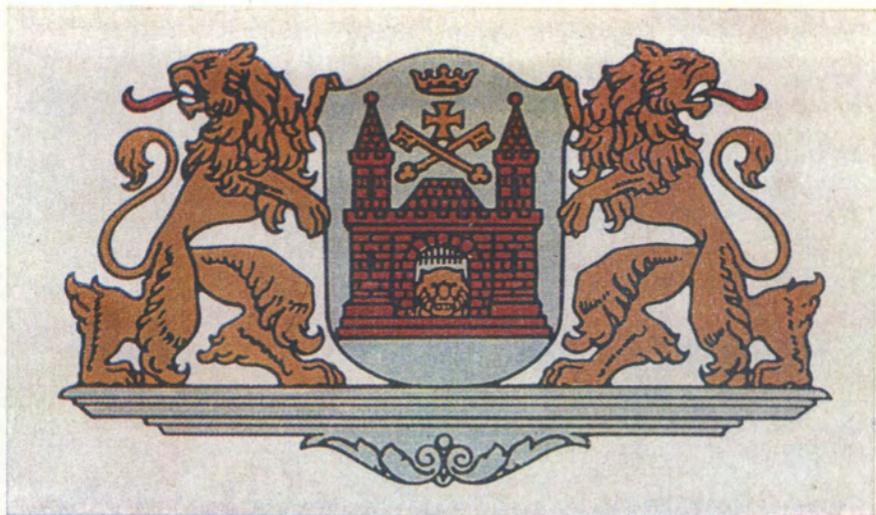
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

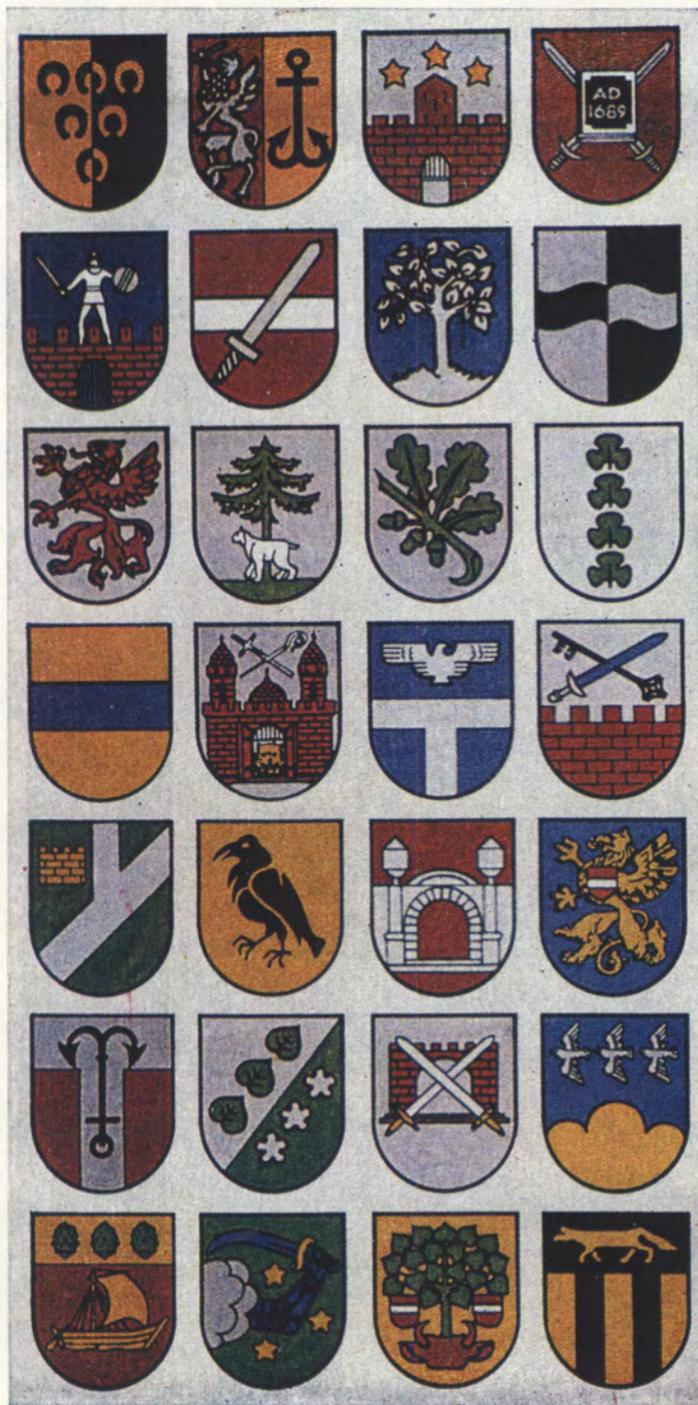
Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ЛАТВИИ

(материал см. на стр. 92)



Рига



Слева
направо:
Абрене,
Айнажи,
Айзпуге,
Алуксне.

Цесис,
Добеле,
Дурбе,
Гостини.

Яунелгава,
Енабпилс,
Кандава,
Карсава.

Леяс-
циемс,
Лимбажи,
Ливаны,
Лудаа.

Плявиняс,
Прейли,
Приекуле,
Резекне.

Салацгрива,
Сигулда,
Слока,
Смилтене.

Валдемар-
пилс,
Валка,
Валмиера,
Варанлны.

Апе,
Ауце,
Балви,
Бауска.



Грива,
Гробиня,
Гулбене,
Илуксте.



Краслава,
Крустпилс,
Кулдига,
Кемери.



Мадона,
Мазсалаца,
Огре,
Пилтене.



Юрмала,
Руиена,
Сабиле,
Салдус.



Стренчи,
Субате,
Талси,
Тунумс.



Вентспилс,
Виесите,
Виляны,
Зилупе.





Даугавпилс



Лиепая



Елгава

45 коп.

Индекс 77123